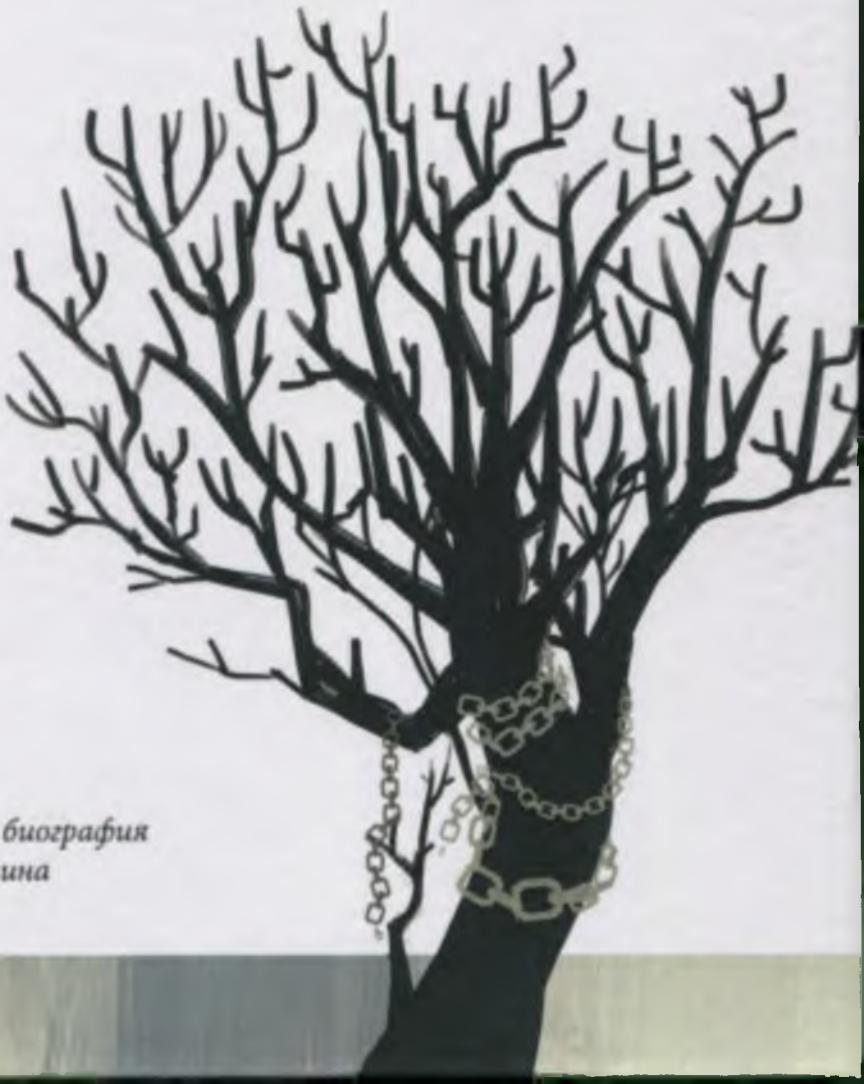


К 1564866

cc

Татьяна Сопина, Михаил Сопин

ЖИВУЩИМ РУКУ ПРОТЯНУ



Поэтическая биография
Михаила Сопина

Татьяна Сопина
Михаил Сопин

ЖИВУЩИМ РУКУ ПРОТЯНУ

Поэтическая биография
Михаила Сопина

16+

K 1564866

Вологда
Родники
2024

Вологодская областная
универсальная
научная библиотека
им. И.В. Бабушкина

+ кр + кмн

81

УДК 821.161.1-821
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
С64

Сопина, Татьяна.

С64 Живущим руку протяну. Поэтическая биография Михаила Сопина / Татьяна Сопина, Михаил Сопин ; под ред. А. А. Романова-мл. — Вологда : Родники, 2024. — 304 с. : ил.
ISBN 978-5-9729-5125-3

Всю свою жизнь поэт Михаил Сопин говорил от имени детей военного поколения — тех, кого сначала калечила война, а потом добивали бездушные представители государственной системы. Кто «не дополз, упал, не додышал», кто не должен был выжить... Основой настоящего издания послужила книга Михаила и Татьяны Сопиных «Пока живешь, душа, люби!» (Humanity for Chernobyl, 2006).

УДК 821.161.1-821
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-9729-5125-3

© Сопина Т. П., Сопин М. Н., 2024
© Издательство «Родники», 2024
© Оформление. Издательство «Родники», 2024

Живущим руку протяну

«Я пишу не стихи, а молитвы
от имени ушедших и уходящих».

М. Сопин

Я не знал поэта лично. Но в середине 90-х годов на столе у отца, поэта А. А. Романова, увидел небольшую книжечку Михаила Сопина — «Обугленные веком». И в ней — очень резкое предисловие, почти «манифест» автора: «Мы входили в жизнь без идеологических шор, с широко распахнутыми глазами от бомб 1941 года... Мы искали в правителе высшего судию, а находили в рабе палача. Мы жаждали от сильного покровительства, а находили в слабом садиста. Мы искали в незнакомом друга, а находили в кровном враге... Мы собачьими глазами просили у общества участливой нежности, а общество обеспечивало нас ненавистью по высшей категории...».

И название книжки, похожее на «Унесённые ветром», «Утомлённые солнцем», «Обожжённые зоной», и вызывающее предисловие в духе исповеди Печорина, и откровенные стихи поэта мне понравились, а имя — запомнилось.

А отец, помню, был в тяжёлом раздумье: с одной стороны, автор, безусловно, талантливый человек, много испытавший и чувствующий; с другой...

До этого А. А. Романов читал рукописи М. Сопина и как член приёмной комиссии СП РСФСР, и как секретарь Вологодской писательской организации, и, конечно, как поэт, несомненно, увидел талант автора. Увидел и то, как заявленные в «манифесте» М. Сопина контрасты прошли сквозь всю эту книгу: вверху — ложь, спесь и подлость; внизу — правда, боль и рабство. Основной художественный приём — резкий контраст, ключевое слово — несправедливость, а главная идея — «мир держится на здоровых кочках среди гнилого болота»...

Звон погребальный
Под родимым кровом
Опухшим,
Заметённым добела.
Зачем я

Новой ложью зачарован,
Пытаясь заглушить колокола?
...Зачем ты, память,
Стон души хорошишь,
Во мне, живом, былое хороня?

Можно было понять тяжёлые раздумья А. А. Романова, который, как и многие, понимающие силу художественного слова, конечно, использовал противопоставление как литературный приём, но вместе с тем понимал, что его частое употребление в словотворчестве сужает, обедняет, упрощает оценку жизни, сводя всё её многообразие всего к двум регистрам — «да/нет», «+/-», «хорошее/плохое» и т. п. И в его записной книжке появляется такая запись (прочитал позже): «На одной отрицательной энергии долго жить нельзя, тем более — поэту. Отрицательная энергия сжигает человека до черноты. А поэзия — это деяние защитительного духа: это — доброе человекоустройство, а не разрушительная борьба всего и вся в человеке и самой жизни.

С давней тревогой думаю о поэте, близком мне: сожжёт своё дарование и сам сгорит...» (14.04.94).

Полагаю сейчас, по прошествии лет, что речь здесь шла именно о М. Сопине, пришедшем в мир в 1931 г., а второй раз родившемся на разломе войны и мира:

Я рождаюсь вот здесь
В сорок первом.

Мёртвым сверстникам
Глядя в глаза...

Моя вторая встреча с творчеством М. Сопина произошла гораздо позже, в новом веке, когда обоих поэтов уже не было на свете. Перебирая домашние архивы отца, наткнулся вдруг на такую его запись: «Михаил Сопин талантлив, но он, пройдя ад лагерей, донёс до русской поэзии лишь кричащие окалины строк. Прозу писать он не может (мог бы, но не может). А в поэзии он мог бы развернуться значительно, как трагик человеческого бытия (вообще человеческого, а не только одного подконвойного, советского), но для такой судьбы необходима мудрость, а не злость-обида...

И строки Михаила Сопина с каждым выходом в свет всё короче... Огня уже не хватает...».

В чём-то эти оценки не были лишены оснований. Вот, например, хорошее начало стихотворения — интересные первые четыре строки, а потом что-то происходит, мысль начинает «ветвиться», ритм ломается, возникает ощущение незаконченности:

Плачут радость и беда,
Смертные и боги.
Откровение всегда —
У конца дороги.

Но иногда и на поворотах.
В этом прелость жизни,
И дай Бог, чтобы поворотов
было больше...

Но, с другой стороны, многое из творчества М. Сопина в те годы опубликовано не было, значит, оценка эта была неполной. И, убеждён, большим откровением для А. А. Романова стало бы такое, например, высказывание поэта (о стихах Е.): «...Основной признак поэзии? Она обладает лечебными свойствами. Сказал — избыл внутренний груз. Потому что вначале было не слово, а предисловие. Стон боли, стон голода, холода, общения, попытка осмыслить себя — главная наука о человеке. А слово — потом.

У тебя есть выражение: «Поэт-затворник обречён перепевать свою законсервированную душу...». Не «перепевать»... а РАСПЕВАТЬ. Это разные вещи...».

В самом деле, «перепевать» — это пересказывать уже известное, повторять «азы», а «распевать» — пробовать свой голос, искать себя, делать свои собственные открытия. «Распевать свою душу!» — думаю, что с этой мыслью А. А. Романов согласился бы безоговорочно: она былаозвучна его миропониманию.

Скорее всего, близкой для него стала бы и такая глубокая философская мысль М. Сопина: «Я вижу строительство будущего по принципу ласточкина гнезда. Из маленькой грязючки птаха лепит домик, в котором родятся птички и осенью улетают, но инстинкт рождения непременно приведёт их обратно. В мире, строящемся по подобию ласточки-

на гнезда, не бывает такого, чтобы то, что один созидал годами, другой получал за минуту без всякого труда...». Но, повторюсь, многое в те времена было не известно: в России наиболее полная и ценная книга М. Сопина «Спелый дождь» вышла после ухода автора, только в 2011 г. (предыдущие цитаты взяты из этой книги).

Да, и второе своё рождение в самом начале страшной войны, и «злость-обида», и грязь, и «подконвойное бытие», и «кад лагерей», и покаяние — всё это присутствует в творчестве М. Сопина, который для передачи этого сложнейшего содержания и выбрал такую своеобразную художественную форму — «кричащие окалины строк».

...За грешное своё
И за святое
Я говорю «спасибо» небесам.
А нам с тобою

Снова в путь-дорогу.
Без горечи пройдём
Остатки лет.

Видимо, поэтому в созданной поэтом-человеком М. Сопиным вселенной находится и просто, и тяжело. Просто потому, что никогда не заблудишься: так однозначно жёстко расставлены акценты, что сразу видно родное и чужое, главное и побочное, коренное и пришлое. А тяжко потому, что, вчитавшись в стихи поэта, набродившись по тропкам и дорогам этого «лихополя», можно и впрямь заболеть... Разрыв-строка, разлом-строфа, отсутствие мягких полутонаов и оттенков, сплошные контрасты-вызовы и резкие светотени...

Неотступно, постоянно за спиной поэта — два образа, две «тени», два отражающих былое видения:

За всё, что выстрадал когда-то,
За всё, чего понять не мог,
Две тени —

Зека и солдата —
За мной шагают
Вдоль дорог...

Этим «тениям из прошлого» надо было дать голос, а в нём — боль, крик, страдания, обиды, грязь... Видимо, поэтому многие «стихи-молитвы» М. Сопина очень своеобразны... А как забыть боль и грязь? Да и молятся ли так, криком?.. Поэтому читать его стихи, как и слушать песни Высоцкого, долго невозможно — сплошной надрыв... Видно, что, озвучивая прошлое, поэт много раз доходил (душой и телом) до края, до обрыва, до грани...

Как формируется калека?
Смешают свет и тьму ума
В бетонной центрифуге века:

Страна — казарма, храм — тюрьма.
Народный голос — рёв амбиций.
И друг вчерашний — враг уже...

И других своих читателей «невольно» тянул за собой:

...Мне страшно:
А вдруг я неволю
Живущих живым сострадать?

Оттого и строки-откровения его «рваные», «рубленые», «ломаные», нарочито вызывающие... Оттого и строфа — «лесенкой», «ступеньками» (куда ведущими — вверх или вниз?). (Пишу сейчас эти слова о поэте и чув-

ствую недоговорённость, недосказанность, какую-то неопределённость: отсюда и частые многоточия в речи...)

Можно, наверное, назвать это балансирующее на грани творческое состояние автора словом МЕЖДУ: «цветок», выросший не благодаря, а вопреки, на разломе камней, между холодом и теплом, изгнанием и лаской, хули и хвалой...

Живу на взрыве
Двух больных энергий —
Своих страданий
И чужих обид.

И тёмную ношу несу я,
И светлую ношу...

Как жить и творить в таком состоянии? Может, это и впрямь, — «безумие»?

Кроны жрут свои древние корни
И, безумьем созрев,
Ядовитые мечут плоды...

И в самом деле, можно ли — одновременно — «проклинать и любить», «казнить и славить»?..

Из позабытого былого
И скорбь светла,
И боль легка.
И мысль, и праведное слово
Доходят лишь через века.

Ни мира нет в тебе,
Ни лада.
Казнишь и славишь на бегу,
Россия —
Чёрная лампада
На вечно каторжном снегу.

Чуть далее читаем и понимаем, что — «нет», «нельзя» одновременно «казнить и славить»: надо определяться, обращаться к тому или иному полюсу-пределу, и поэт, выходя из промежуточного состояния, «славит» только настоящую свою Родину, а фальшивую, казённую, извращённую — «казнит» и отвергает напрочь:

Моя Россия —
Ум и нежность.

Бандитски-рабья —
Не моя.

Часто при чтении стихов невольно заражаешься негодящей страстью автора, поддаёшься его «мышлению на гранях» и только потом начинаешь замечать «крайности», «ошибки», парадоксы, предельно заострённые обобщения поэта (курсивом выделено то, с чем не согласен):

...Хором славу поём.
Оглядишься кругом —
Каждый рабье своё
Выжигает в другом.

Ещё не стужа. Только снег.
И мы идём, сутуля плечи...
Все знают всё и обо всех.
Но с тайной — жить на свете легче.

...Война, война.
Распятый страхом тыл
Застыл.
Мой длится путь по лихополью.
Я общества щадящего не помню.
Безвременьем убитых не забыл.

Счастье на песке рисуем,
Вслушиваясь в хруст.
Каждый до песчинки предсказуем,
Потому что пуст.

В самом деле: крайности чреваты... Но вдруг (так бывает у автора), дойдя до края-предела, душа поэта делает открытие: оказывается, обрывы, овраги и пропасти суть испытания, закаляющие народ и каждого отдельного человека:

...Двадцатого столетья
В глазах невпроворот,
А я без клятв, без лести

За краем вижу брод —
Сейчас, на этом месте
Рождается народ.

А вот это откровение-предел считаю одним из лучших стихотворений в творчестве поэта:

Стой...
Че-ло-век...
Застыл я, не дыша.
Ржавь проволоки,
Пихты да берёзы.

Я камень сдвинул,
А под ним — душа.
Прильнул к травинкам —
Зазвенели слёзы.

Многие лирические произведения М. Сопина, безусловно, автобиографичны, но здесь поэт «распел свою душу» в полную силу, сказал самое главное — и о самом себе, и о своём поколении, и о каждом страдающем человеке, человеке «на грани». Даже если далёкие наши потомки прочитают и запомнят только эти строки, они поймут суть необходимые: «я камень сдвинул, а под ним — душа! Бессмертная душа человека!..

В том, что на определённом жизненном этапе (слово в контексте биографии поэта звучит двусмысленно) он «отогрелся» душой, безусловно, главную роль сыграла любимая женщина, та, что спасла его, — Т. Сопина.

...уйти в тебя,
забыв про всё на свете,

уйти в тебя,
когда ты вся — весна.

Когда любишь, и твоя любовь — «весна», душа твоя начинает «распеваться», и это прекрасно...

А что — потом, что — дальше, когда душа уже «распелась», и голос твой услышан?.. Ведь поэзия безмерна... Не затеряется ли твой голос?..

Вот как отвечает на этот вопрос сам поэт: «Большая поэзия — это гигантский планетный музыкально-литературный смысловой оркестр, и в нём закономерностей больше, чем случайностей. Если одна творческая мысль затронет струну другой — они зазвучат. Они будут играть Поэзию. Начинается сыгровка оркестра».

...Помнишь, я говорил,
Что бессмертие —
Голоса звук!

Во Вселенной в веках
Сохраняются слов наших звуки.

И здесь мне вновь вспоминаются слова из того давнего «манифеста» автора: «Мы входили в мир без шор и уходим без иллюзий. Именно это укрепляет меня в убеждённости: рано или поздно, при мне это произойдёт или без меня, если ненависть способна заплакать покаянными слезами, Родина неизбежно обретёт человеческий облик. Так думаю. Над этим работаю».

Действительно, сегодня, после жутких 90-х Россия обретает «человеческий облик», поднимается с колен, и в этом, безусловно, есть и заслуга поэта и человека Михаила Сопина. «Живущим руку протяну...». Удивительно: сам — былинка, «душа, сорвавшаяся с орбиты», «цветок на разломе», а «неволит сострадать» другим и тянет руку всем живущим...

И нам, живущим, остаётся лишь одно: «пожав» в ответ поэту руку, прислушаться и постараться расслышать в сложном многоголосии современной русской поэзии и его «голоса звук».

А. А. Романов-мл.

ВЫЗОВ СУДЬБЕ

.....

*О поэте рассказывает
Татьяна Сопина*

.....

Вступление

В 1967 году я была принята младшим литературным сотрудником идеологического отдела газеты «Молодая гвардия» Пермского обкома ВЛКСМ. В это же время я переписывалась с заключённым одного из северных пермских лагерей. Иногда он присыпал стихи. Тематика обычная для заключённых, но какая выразительность!

Я загинул до срока
Клеверинкой у ржи.
Чёрный во поле колос,
Меня удержи...

Весной 1968 года наш редактор ушёл в отпуск, заместителем назначили сотрудника, к которому я могла обратиться с просьбой. Я попросила дать мне неделю «без содержания», чтобы выбраться на Север и увидеть автора необычных стихов, на что временный начальник ответил:

— Зачем без содержания? Я тебе подпишу командировку.
— Но это — лагерь. Маловероятно, что будет материал для газеты.
— И не надо. Этот материал у тебя «не получится». Может же что-то у журналиста не получиться!

Так я выехала по командировке на поселение Глубинное Чердынского района, что имело многозначительные последствия.

Роковым оказалось слово «командировка». Дело в том, что как только началась зона, с меня не спускали глаз, приставляли охрану, рассказывая, какие ужасы могут приключиться: изнасилуют, убьют и прочее. Когда я, наконец, добралась до Глубинного, поселили в гостевой административной комнате, а автора стихов, Михаила Сопина, привели под конвоем.

Охранник ходил за нами по пятам до вечера. Но он был обыкновенным призывником. Михаил отозвал его в сторону, тихо побеседовал. Может быть, солдату даже стало стыдно... И он оставил нас в покое.

Когда мы остались вдвоём, Миша сказал:

— Они боялись выпустить тебя из поля зрения не потому, что опасно. И конвой здесь не положен — это же не лагерь, а поселение. Они не за тебя, а ТЕБЯ боятся как представителя прессы. Вдруг увидишь то, что НЕ НАДО ИМ... Тут у нас много чего можно увидеть и узнать. Тебе надо приезжать просто как «женщина к мужчине», и тогда всем будет всё равно.

Впоследствии я так и делала. Когда у Михаила закончился срок, мы поженились.

Рассказывать о нравах тех мест можно много, но сегодня речь о стихах.



Желтые тетради



Первые тетради со стихами не сохранились: зная, что отберут перед отправкой на этап, автор их сжигал. На поселении писать не запрещалось, но тетради могли погибнуть при пьяной казарменной драке или быть украдены...

Когда мы познакомились, Михаилу было 37 лет. Писал он в общих тетрадях в клеточку, и первое, что попросил:

— Увези отсюда мои тетради.

Впоследствии пересыпал их по почте.

Я начала разбираться и поняла, насколько это трудно. Бисерный почерк в каждую строку, карандашный текст на пожелтевших страницах mestами полустёрся. Величайшая экономия бумаги — на одной странице по два столбика. Только в одном месте я нашла несколько страниц дневниковых записей в прозе, но тут же всё обрывалось. Было очевидно, что автору этот стиль самовыражения не близок.

По структуре стихи казались похожими: длинное «разгонное» начало, и вдруг (обычно концовка) — поражающее. Как будто автор долго пробирался через дебри, чтобы уяснить для самого себя какой-то очень важный смысл... Со временем я поняла: чтобы выяснить, стоящее ли это стихотворение, надо сразу заглянуть в конец. Но иногда хотелось задержаться на строчках и посередине:

Я хотел бы забыться
От всего и от всех,
Я хотел бы забыться
В березняк, словно снег...

На моих глазах он очень быстро рос профессионально. Что для меня несомненно — лагерные тетради заслуживают отдельного издания. И такая попытка была предпринята в Перми. Михаил был ещё в заключении, когда я сделала выписки удачных стихов и строчек — получился выразительный сборник с неповторимым лицом.

В свёрнутом виде здесь были почти все основные мотивы последующего творчества Сопина («А около — тенью саженной былое, как пёс на цепи», «Тысячелетья стих мой на колени ни перед кем не встанет, словно раб...»). Прорывается и такое: «...На душу всей страны России мой путь упрёком горьким упадёт». Но это именно лишь УПРЁК, до обвинительной позиции ещё далеко. В эти и несколько последующих лет ему будет ближе рубцовское: «Россия, Русы! Храни себя, храни...», присягание Родине в верности, объяснение ей в любви.

В сохранившихся тетрадях подъём приходится на конец 1968 года. Это был какой-то взрыв творческих удач, стихи текут на едином дыхании, ярко, на высокой нравственной и эмоциональной волне. Знаю читателей, которые этот цикл по искренности и напряжённости считают лучшим в творчестве Михаила Сопина. Так ставить вопрос — что лучше? — наверное, нельзя. Поэт был в поиске всю жизнь, и в каждый творческий период были свои удачи. А понять его можно только прожив — мысленно — вместе с ним его жизнь.

Конечно, о публикациях мы и не мечтали, но знакомый физик сделал ксерокопии, и они ходили по рукам.

Остановимся только на одном стихотворении — «Не сказывай, не сказывай...». Поражает звукопись, музыкальность (внутренняя рифма почти по всей строке), чёткий ритмический рисунок. Аллитерация: -ст-, -ск-, внутри стихотворения словно что-то постоянно стучит — и только в конце понимаешь, что это «дом колотит ставнями». Напомним, что у автора за плечами всего десять классов заочной лагерной школы.

Читаем:

Не сказывай, не сказывай...
...Печаль ЮГоЮ Газовой ГлАЗА ЗАпеленала...

Про[стая ли], про[стая ли]
Твоя кручина разве,
Когда слезинки [стаяли]...
Весь свет поСТЫЛ и [СТАЛ не мил] —

и после всего этого распева — смысловая концовка, как удар:

И дом колотит ставнями, как по щекам ладони.

(Миша очень любил редкое и красивое слово «юга». Когда я спросила его — что это, он пояснил: что-то вроде степного марева. Потом я к этому слову привыкла, и оно перестало смущать. Сопин был из тех мест, где украинский и русский языки имеют одинаковое хождение. Вот как переводится это слово на русский язык в украинско-русском словаре под редакцией В. С. Ильина: «Юга (ударение на последнем слоге) — сухой туман, мгла, марево...» У Владимира Даля: «...состоянье воздуха в знойное лето, в засуху, когда небо красно, солнце тускло, без лучей, и стоит сухой туман, как дым...»). Стихотворения того периода: «Родные плачущие вербы...», «Не заблудился я...», «Вода, вода...» вошли в сборник «Предвестный свет», цитировались в газетах. А их могло быть гораздо больше! — если бы не предвзятое отношение к автору-заключённому.

Я ТЕБЕ НЕ ПИСАЛ...

Я тебе не писал,
Что меня посещают виденья,
Временами зовёт меня кто-то,
Кричит, кричит...

То вдруг чья-то рука
На виду у честного народа
Меня разденет,
То я вижу себя
В язычке горящей свечи.
Тает воск.
Опускается пламя ниже.
И качает меня,
Как в сосуде огонь.
Лижет ноги, грудь,
Сердце,
Душу лижет. А вокруг —
Карнавал ночных и снегов...
Я вскакиваю.
Под ложечкой тает смуты льдина.
Усталые веки —
Как ставни избы нежилой.
Разум, о разум,
Что со мной?
Помоги, мой спаситель единый.
Эти мгновенья —
Ножик под горло,
Так тяжело мне от них,
Так тяжело.
Я пробовал пить...
Но это — то же,
Что ветер пьёт воду по лужам:
Поднял, осушил
И, качаясь, пошёл по степи.
Но жизнь — не степь,
И иди, качаясь по ней,
Это в сто тысяч раз хуже,
Чем себя одурачить,
Оглушить, ослепить.
Проснёшься опять.
И куда ж его денешь?
Кричит оно,
Что ты разбит
И распаян.
И тогда,
Как в смерти...
Не хочется пробужденья.
Хочется спать вечно,
Никогда не просыпаясь.

* * *

Есть в душе моей такая рана —
Может, много, жизнь, еще шагнём —
Только знаю: поздно или рано

Полыхнёт, как в полночи огнём.
И сгорит — без углей и без пепла,
Без сифонов и без кочерёг,
То, что столько лет и жгло, и крепло,
То, что столько в жизни я берёг:
И любовь, и горечь, и обманы,
Колос чувств и долгий голод в нём...
Есть в душе моей такая рана,
Что когда-то полыхнёт огнём.

* * *

Всё, что было моим — не моё.
Сердце тянет к теплу, словно птицу.
Память крыльями в проруби бьёт
И не может за край уцепиться...

* * *

Бушует снег, шумит хвоя.
И сквозь буран и отдаленье
Неясный голос слышу я —
То ли борьбы, то ли моленя.
Не то... в смешенье буйных сил,
В их дисгармонии и дрожи
Я вдруг в сознанье воскресил
Весь цикл замкнувшийся,
Что прожил,
От мнимых взлётов до крушений,
Что вижу нынче свысока...
И только не найду решений —
Куда идти и что искать,
Где каждый миг судьбы оплачен
За боль других и за свою.
О чём же снег и ветер плачут,
Или о чём они поют?
Хочу бежать, а буря воет,
И некто с нею грозен, дик,
Моею машет головою,
Распятьем тело пригвоздив.

* * *

Не сказывай, не сказывай
О горечи финала.
Метель югою газовой
Глаза запеленала.
Простая ли,
Простая ли

Твоя кручина разве,
Когда слезинки стаяли
И покатили наземь?
Весь свет постыл
И стал не мил,
Больное сердце донял,
И дом колотит ставнями,
Как по щекам ладони.

* * *

И великий живёт,
Как и мы.
Может, синего больше на веках.
Каждый чем-то захвачен,
Закручен.
Не крикнешь: «Куда ж это вы?!»
А из нас-то уже
Кто-то движется знаменьем века
По дождливым бульварам
Один
Среди многих живых.
А навстречу —
Вечерний туман,
Неурядицы и недостатки.
Немигающе
Смотрят на нас
Фары бегущих машин.
Разве кто-то поймёт,
Что капают жизни остатки,
В вечность капают тихо
Из треснувшей чьей-то души?
Вытекают пейзажи,
Мосты, переулки, соборы,
Вытекают глаза
И улыбки, накопленные за года...
Вплоть до детства,
До чёрного неба над стонущим бором —
Всё уходит, чтоб больше
Не думать о нём, не гадать.
Словно тени теней
Проплывают в толпе многоликой
Непонятные судьбы,
Которые не повернуть.
В тишине, в тишине,
В тишине умирает великий,
Чтобы смертью своей
У столетий отнять тишину.

Передо мною —
В сизых лозах пень...
А за полоской лоз — как море — озимь.
И так мне радостно,
Что хочется запеть,
Но вместо песен
Выступают слезы.
Вот, торопясь,
Бежит куда-то жук.
Ага, он в дом,
И не стучится в двери.
А я гляжу на всё, гляжу, гляжу,
И в горле сохнет,
И глазам не верю.
Я болен, околдован, глухо пьян?
О нет! Даю разгадку тайне:
Передо мною — родина моя
Вновь рождена
За столько лет скитаний.

...Ругай меня, люби меня,
Превозноси,
Низвергни в бездну,
Пока я искоркой огня
В безбрежьи мира не исчезну.
Пока судьба моя — не «были»...
И сердце бьёт ещё рывками.
И музыка души — не пыль,
Спластавшаяся в мёртвый камень.

Своим,
Земным,
Живым поющим братьям
Я улыбнусь
Незрячей болью слёз...

Не заблудился я,
Но все же поаукая.
Я не замерз,
Но не гаси огня.
Я не ослеп,

Но прятни мне руку.
Я не ослаб,
Но пожалей меня.

* * *

Вода, вода...
Гляжу в тебя,
Гляжу до головокруженья,
И забываю счёт годам
От сопричастности к движенью.
Как будто я тебе сродни,
Но до поры очеловечен.
Как будто бы я сам родник,
Из этой вечности возник,
По ней иду,
И путь мой вечен.

* * *

Родные плачущие вербы!
Глухое дальнее село!
Я б не любил тебя, наверно,
Так обречённо,
Так светло,
Когда б над каждым
Чёрным злаком
Не убивался сердцем я,
Когда бы сам с тобой не плакал,
Отчизна светлая моя!

Журавушка

Конец семидесятых — пожалуй, самый тяжёлый период в мирной жизни. Иллюзии о душевном равновесии на свободе рассеялись. Средства на жизнь давала работа слесарем-сантехником (кстати, Михаил был хорошим слесарем), но на одном месте подолгу не задерживался. Контакт с коллективом всегда превращался в пьянку с просаживанием и без того нищенской зарплаты. Стремился найти местечко в котельной с круглосуточными и ночных дежурствами. Впрочем, случайные «друзья» и богема быстро обнаруживали эти «уютные местечки»...

На сайте «Стихи.Ру.» Михаила Николаевича иногда называли профессиональным поэтом. Если иметь в виду Союз писателей СССР, затем России, — да, он был принят в него в 60 лет. Но средств к существованию эта профессия не давала никогда. Гонорары за сборники стихов получал трижды: первый мы проели, на второй купили сыну виолончель, в третий раз деньги пропали «благодаря» гайдаровской реформе.

...Стихи не печатали, полагаю, по нескольким причинам.

Одна из них — непроходная тематика. В то время у всех на слуху был Владимир Высоцкий, люди ходили с гитарами. Миша тоже пел под семиструнную гитару (природная украинская музыкальность), но своё:

Не кипит, не бьётся в берега
Чёрная река судьбы зловещая.
От кого мне было так завещано —
За одну две жизни прошагать?
Белый пар скользит по валунам,
Как дыханье трудное, неровное.
Памяти моей лицо бескровное —
На лету замёрзшая волна.
И с тех пор за криками пурги
Слышу, если вслушиваюсь пристально,
Лай собачий и глухие выстрелы,
И хрипящий шёпот: «Помоги!..»

(Последние две строки он выговаривал с напором, подчёркивая каждое слово, а «Помоги!..» — глухо, с угасанием, потом — долгая пауза.)

Богема слушала, опрокидывала стаканы:

— Миша, это хорошо, но ведь это — тюрьма.

В Перми уже определились свои кумиры, своя поэтическая школа. Михаил писал в другой манере. Он был «не свой». К тому же его боялись: вчерашний «уголовник», непредсказуемый и непонятный.



Была и внутренняя, достаточно глубокая причина. Когда муж уехал в Вологду, я стала разбирать рукописи и поняла, что цельную книгу по требованиям того времени делать не из чего. Тюремное — нельзя. Новое... почти всё требует доработки. Я сложила рукописи в бумажные мешки и перевезла в Вологду. В новой двухкомнатной «хрущёвке-пенале» хранить их было негде, пришлось отнести в подвал. Однажды нашу сарайку разграбили, мешки разворотили, листы разлетелись по подвалу...

Кое-что помню наизусть. Было длинное стихотворение... полностью его не восстановить. Но вот эти строчки, смеясь, мы повторяли очень часто:

А котята: «Мяу!»
А котята: «Мяса!»
Кончен, кончен мясоед
Для кошачьих классов.
Нынче крысы ходят —
Шасть, шасть, шасть!
Нынче крысы в моде,
Нынче крысам всласть...

Это был период дефицита. Наш трёхлетний сын очень любил мясо, а его не было. Я говорила, что посажу Петю на ступеньки у обкома партии, научу кричать погромче «Мя-са!», а сама спрячусь рядом в кустах.

Ещё была песня в народном стиле, мы мечтали, чтобы её исполнила Людмила Зыкина. Песня мне очень нравилась, но мы потеряли текст. Я помнила обрывки, стала просить Мишу восстановить. Не смог... Написал другое — по-своему хорошо, но я хотела «то». Так и думали, что не найдётся никогда... Вдруг ворохе рукописей мелькнул старый листочек! И теперь можно привести первоначальный текст полностью:

Пришла осенняя прохлада
Дорожкой белой под уклон
В мою единственную радость —
Так запоздавшее тепло.
Зачем-зачем легли туманы?
Зачем несбывшиеся сны?
Калина — горькая, как память,
Дожди, как слёзы, солоны.
Зачем осиновые листья
Качнул багровый ураган?
Зачем ты, иней серебристый,
Упал на дальние луга?
Перекликаясь с облаками,
Шумят снегов перепела!
Калина — горькая, как память,
Метелью белой зацвела.

...А тогда, четверть века назад, Миша пришел выпивший, с этой только что сочинённой песней, пел её и упрашивал меня подобрать мелодию на пианино, а я не умела... тыкал по клавишам одним пальцем и плакал. Стал просить подыграть старшего сына, который учился во втором классе музыкальной школы, но тот тоже был беспомощен. Я потом серьезно

поговорила с Глебом, чтобы старался получше учиться, потому что у папы хорошие стихи и песни, он сам записывать ноты не умеет, а кроме нас ему помогать некому.

Некоторые стихи были политически небезобидными, и когда на смену Брежневу пришел Андропов, Миша очень перепугался и хотел бежать в лес (мы жили у парковой зоны) немедленно жечь рукописи. Дело было к ночи. Я удерживала его, убеждая: огонь будет виден издалека, задержат — причём не за политику, а за разжигание костра в неположенном месте. А заодно и предметом сжигания поинтересуются...

Хотел покончить жизнь самоубийством — наглотался таблеток. Я вызвала «скорую». Врач спросил о мотиве. «Стихи не печатают». — «Хорошие стихи?» — «Хорошие». Врач больше ничего не сказал.

Когда в очередной раз Михаил получил мощный «отпих» в Пермском отделении Союза писателей, принёс домой стихотворение «Журавушки» и плакал. Мне тогда казалось, что это последнее, что он написал в жизни:

Раньше было — сожгут на костре,
А теперь от пожарищ устали.
И ведётся отлов и отстрел
По поющим, отставшим от стаи.
Успокойся, душа, не боли!
В этой жизни случаются миги.
В Красной книге уже журавли.
В Красной книге...
Журавушки в книге.

Миша мечтал связаться с русским зарубежьем, надеясь найти там понимание. Неизвестно, было бы это к лучшему или худшему — но чего не случилось, того не случилось. У нас не было связей.

Приведённые ниже стихи перед своим отъездом в Вологду Миша оставил мне на память, частично записанные в виде песен на магнитофонную ленту. Всё было смутно...

Я даже была готова к тому, что Михаил не вернётся вообще. Часто слушала эту запись в одиночестве. Но детям тоже нравилось, особенно старшему сыну — ему уже было 12. Однако запись была очень некачественной. Потом магнитофоны устарели...

Запись считалась утерянной. Уже после смерти Михаила я разыскала старую бобину. На областном радио с помощью компьютера её почистили, перевели на кассету и диск. Теперь можно слышать голос автора, его бардовское исполнение.

* * *

У стенок, в воронках,
Во рвах, на холмах, у рябинки —
По отчему краю
Без вас не отыщешь версты:

Могилы забвенья,
Фанерные звёздочки, бирки,
Крест-накрест берёзы
Да русские в поле кресты.
Я ветры прошу,
Ребятишкам шепчу:
«Осторожно
Касайтесь камней,
Чернобокой ракиты и трав.
Здесь — думы страны,
Без чего вам прожить невозможн...»
Взывающий к миру,
Глаза застилает мне прах,
Проходит сквозь ставни,
Влетает в холодные сенцы.
Разбиться-забиться,
Не выкричать лиха в лета.
Так свято, так тяжко,
Отчизна,
Не знаю — как сердце
Не ахнет фугасом,
Вобрав свою боль и впитав.

* * *

Над страною пустых колоколен,
Когда выстонут в поле сычи,
Руки выпластав
В аспидном поле,
Безответно душа прокричит.
Тишина. Пролетает зарница.
Глухота. Дольний ветер утих.
Может быть, это давнее снится —
Вижу сам себя в минном пути?
Зной донской по траншейным уступам?
Что ж, оставим потери свои.
Мы за всех бесконечно преступны,
Кто сорвётся,
Сойдет с колеи,
Кто — без принципа,
Кто — по уставу.
Жизнь моя,
Окликай их вослед,
Убеждай, что ещё не устала
Жить и верить
На этой земле.

Всё иду,
 Как маленький,
 По степи бездонной,
 Будто меня маменька
 Прогнала из дома.
 И летят без жалости,
 Бьют дожди навылет
 За мои ли шалости,
 За грехи мои ли.
 По глазам — тяжёлый дым
 Стылого застолья.
 Для потерп и для беды —
 Полное раздолье.
 Не дорога, маesta.
 Моросно-туманно.
 Если, мама, что не так —
 Ты прости мне, мама...
 Будто только лишь для нас
 Не к дороге обувь.
 Декабрём легла весна.
 Травы — под сугробы.
 Через поле — лунный след.
 Всё ли в жизни нужно?
 Не гаси, родная, свет
 В заверети выюжной.

От себя голова поседела.
 Соучастьем других не дури:
 Я б сегодня
 Под дулом не сделал,
 Что бездумно вчера натворил.
 Чьим восторгом шалел,
 Словно бредом?
 Не своей правотой принимал...
 Забывал,
 Где ударил, где предал,
 Поглупев от чужого ума.
 Доброта ли, любовь —
 Показуха!
 Глубоко безразличен ко всем.
 Потому-то и в глотке не сухо —
 То в солёной, то в горькой росе.
 Только нет,
 Не оглох я от быта.
 Мне и мёртвому боль суждена.
 Кем-то, может,

Но мной не забыта
Ни своя, ни чужая вина.
Где-то мы от родимых и близких
Ради мест призовых отреклись,
И глядят сквозь снега обелиски
С болевой
Напряжённостью лиц.

* * *

Вперёд, моей жизни лошадка,
Так стыло, так тягостно тут.
Мне больно, мне горько, мне жалко
Плодящих в сердцах пустоту.
Какие ж вы были смешные!
Вам — первое место в строю.
Ложились снега обложные
В апрельскую душу мою.
Глаза — подо льдами кувшинки,
А в них — серебристая дробь.
К пушинке слетает пушинка,
К сугробу ложится сугроб.

* * *

Вернуться б, вернуться,
Молвы разминировать поле!
Вот схватки! Вот лица!
Куда мне от них... Вот они!
Здесь жаждал я воли!
И вдруг от избыточной воли,
Как будто у края
Развёрстой завис полыньи.
И вздрогну от мысли,
Что сердце моё на прицеле.
На что опереться?
На чём задержаться, на чём?
У бездны стою.
А считал — у достигнутой цели.
Легчайшего ветра,
Достаточно ветра в плечо.
Как будто я проклят
И загнан насильно на землю,
Так горько, так стыло,
За хлябями хлябь без конца.
Подайте мне чашу,
Налейте мне, недруги, зелья,
Полнее, по-царски,
Настоя на ваших сердцах!

ЧУЖОЙ ДОЖДЬ

Над родниковой памятью вечерней
Сижу один
В каком-то там году.
Зачем я здесь
Без смысла, без значенья
Чужим дождём
В чужую лебеду?
Года мои,
Колеблемые свечи,
Я вижу вас —
Но нет туда пути.
Продувшемуся в жизни
В чёт и нечет,
За свет ваш дальний
Нечем мне платить.
Все разошлись
По делу и без дела.
Где близкие?
Где дружеский совет?
Лишь дождь чужой
Над головою белой.
На мне одном
Сошёлся клином свет.

Кликам храмов бревенчатых

Мы рассыпали стихи по толстым и тонким журналам, но получали стереотипные отказы с дежурным вылавливанием «блöх», а также: «К сожалению, редакционный портфель переполнен...». Редким просветом порадовало письмо из Красноярска от Виктора Астафьева. Миша решился послать ему стихи, потому что Астафьев долго жил в Перми. Тогда он ещё не был столь знаменит. А вдруг не откажет? И Виктор Петрович ответил — на двух страницах:

«Уважаемый Михаил Николаевич! Стихи ваши очень энергичны по ритму, задиристы по содержанию, хотя порой и сдаётся мне, что Вы тырите на действительность дорогую вроде дворняги, цапните за штаны и тут же хвостом виляете извинительно. В этом деле — или, или...

Конечно же, на стихах ещё лежит печать незрелости, но и самостоятельность проглядывает, вернее, скорее стремление к ней, и во всём чувствуется поэт, т. е. человек, богом отправленный в мир выражать себя и свои чувства посредством стона, а не потому что захотел стать поэтом. Поэт — он невольник, он с рождения обрёчен, и тут ничего не поделать никому, даже цензуре, даже внутреннему цензору. Вам, конечно же, надо писать и писать, но поскорее проходить задиристость и так называемые «поэтические находки», т. е. скорее устремляться и достичь естественности самовыражения...

Готовьтесь к трудной доле современного советского поэта. Всем самостоятельно мыслящим людям, и литераторам в частности, живётся у нас нелегко. Желаю Вам удачи!

Ваш В. Астафьев».

Астафьев предлагал помочь в публикациях — на Урале и в Москве. Но из журнала «Урал», куда он пообещал переслать стихи, никто не написал. Переписку с Виктором Петровичем мы оборвали сами, рассудив: если человек сказал доброе слово, это ещё не значит, что его надо эксплуатировать до упора. Астафьев — не поэт и не издатель. Сибирь — далеко... Однако этой «протянутой в ледоход соломинкой» мы жили и грелись долго.

Однажды Миша сказал:

— Я долго думал, к кому хотел бы обратиться по крупному счёту, и нашёл два имени: Лев Аннинский и Вадим Кожинов. Но Аннинский более историк литературы. А Кожинов работает по современности. Я напишу Кожинову.



Мы отобрали восемь-девять стихотворений.

Прошло полгода, а может, и больше. Мы почти забыли об этом письме — мало ли кто нам не ответил?! И вдруг приходит поэт Витя Болотов:
— Вот, я нашел это в издательстве — валялось среди рукописей. Увидел твоё имя и подумал, что, может, тебе пригодится.

Мы взяли листок и обомлели: это была кожиновская рекомендация к публикации.

Чтобы понять значимость этого факта, надо вспомнить, что означало в семидесятые годы имя Вадима Кожинова. Это был литературный бог и бунтарь. Он сделал имя Николаю Рубцову. Среди тех, кого он «выводил в люди», Алексей Прасолов, Анатолий Жигулин, Николай Тряпкин, Виктор Лапшин... Уже одно упоминание фамилии Кожинова рядом с именем неизвестного автора могло считаться сенсацией.

Первая реакция — бурная радость. И... оторопь. Ну и что? Рекомендация САМОГО Кожинова полгода валяется в издательстве, и никакой реакции. Можно представить, как «стояла бы на ушах» литературная Пермь, напиши Кожинов такое о ком-то другом! Но зачем эта рецензия нам здесь, дома? Повесить на стенку? Хвастаться перед знакомыми? Она была направлена по адресу — издателям.

В начале января 1982 года в редакцию газеты «Молодая гвардия» пришёл запрос — послать на учёбу в Высшую комсомольскую школу журналиста. Выбор пал на меня. Я сначала хотела отказаться: много работы, маленькие дети. И чему там научусь? Тем более — на сорок дней...

Но Миша сказал:

— Управимся без тебя. Поезжай. Найди в Москве Кожинова и расскажи обо мне.

...В первый раз Вадим Валерьевич назначил мне встречу в Доме архитектора: он там читал лекцию на вечере памяти Рубцова. Я пришла почти за час до начала, села в первом ряду. Слушала, боясь проронить слово. Потом лектор пригласил посмотреть фильм о Рубцове, и я послушно пошла в кинозал. А когда вспыхнул свет, оказалось, что Кожинов давно ушёл.

Не буду утомлять длинным рассказом, как я пыталась добиться встречи вторично. Наконец, он сдался — предложил пообщаться в фойе Союза писателей. С первых слов стало понятно: Кожинову надо от меня оторваться. Он держал под мышкой стопку исторических книг и вежливо разъяснил:

— Я вообще отошёл от поэзии, видите — занимаюсь историей.

Я ещё что-то говорила о пермской безысходке, об отношении к его рекомендации... Он несколько вальяжно развёл руками:

— Ну, если со мной в Перми не считаются, может быть, посчитаются в Вологде. Пусть едет в Вологду. (Так запросто!)

Потом подал мне пальто. Пока я застегнула пуговицы, оглянулась: в фойе уже никого нет. Все мои «героические» усилия кончились ничем.

На следующий день в нашей журналистской школе на целый день было мероприятие на ВДНХ. Мы сидели врассыпную в большом актовом зале. Одиночное место было выбрать нетрудно: просторные ряды, рассчитанные на массовую аудиторию, полукружьем, как в цирке, уходили вверх. Ничего не помню, что на этом занятии происходило... сочиняла и переписывала письмо Кожинову. Много чего написала: об украинских дедах, о войне, о тюрьме... Послала без обратного адреса — чтобы не было соблазна проверить, дошло ли.

А когда вернулась в Пермь, муж показал конверт с московским адресом, а в нём вырванный из блокнота миниатюрный листочек, всего несколько фраз: «Дорогой Миша! Мне тоже 50 лет...» Подпись — В. Кожинов. Никаких конкретных рекомендаций, но указывался домашний телефон.

В течение месяца, заглядывая в маленькую комнату нашей хрущёвки (днём она превращалась в рабочий кабинет), я видела: Михаил подолгу сидит на подоконнике и смотрит на дальний лес. На тот самый тополёк, который: «Протяни мне ладонь, тополёк...». Мысленно прощался. А потом сказал:

— Я поеду в Вологду.

Решиться на это нам было очень непросто. У меня была хорошая работа, имя в пермской журналистике. Младший сын, десяти лет, подавал надежды в игре на виолончели, и его хотели подготовить для выступления с симфоническим оркестром. Его преподаватель и слышать не хотел, чтобы Петя куда-то уезжал!

Миша позвонил по московскому телефону. И услышал:

— Деньги на билет до Вологды есть?

— Найдутся.

В трубке послышались гудки.

...Не раз потом мы будем вспоминать любимое кожиновское выражение: «Надо сделать усилие». Видимо, это был принцип его собственной жизни. Но и от других требовалось то же. На семейном совете решили, что Миша сначала поедет один — найдёт работу. Потом поменяем квартиру.

В Вологде у нас никого не было. Правда, знакомый физик Володя ездил от своего научного института на вологодскую мебельную фабрику «Прогресс» налаживать аппаратуру, с кем-то там познакомился. Но не до такой же степени, чтобы просить постоянной для приятеля! Да ещё такого... в поведении непредсказуемого. Мы видели, что Володя боится. Но, человек мягкий, не смог отказать! Миша не подвёл.

Устроился слесарем на «Прогресс» и при первой возможности перешёл жить в рабочее общежитие. А через некоторое время его нашёл человек «от Кожинова» — сотрудник Общества охраны памятников истории и культуры, молодой поэт Михаил Иванович Каракёв. Разговорились, понравились друг другу. Ему Миша посвятил стихотворение «Ослепший лебедь», в котором есть такие строчки:

Лики храмов бревенчатых,
Слушайте голос заутрени.
Возвратилась душа моя к вам,
На последний поклон.

Позднее стихотворение вошло в поэму «Агония триумфа» (см. стр. 285 настоящего издания).

(Когда через год мы всей семьёй переедем в Вологду, наша квартира будет украшена богатым набором фотографий из фонда Общества охраны памятников от Миши Каракёва — «Лики храмов бревенчатых»).

...В областной партийной газете «Красный Север» Михаилу сделали подборку стихов. Новым сантехником заинтересовался сам директор фабрики, Герой Социалистического Труда Степанов. Вызвал к себе, спросил о зарплате. Это был, конечно, мизер.

— Небось, если тебе в другом месте дадут на червонец больше, сразу побежишь? — заметил директор.

— Если мне платят на червонец больше, значит, больше уважают мой труд.

Степанов некоторое время шагал по кабинету. Потом сказал:

— Мы шли туда, куда нас пошлют.

— А мы шли туда сами, — парировал сантехник.

Ответ понравился.

— Иди к коменданту общежития, скажи, что я велел найти тебе комнату.

«Это был властительный самодур, — вспоминал о Степанове муж. —

Но, как истинный воспитанник сталинской эпохи, не боялся брать на себя ответственность и слов на ветер не бросал. Умный ничего не сделает там, где поможет вот такой...»

Комендантом оказался милейший старичок Иван Федосеевич. Они прошли по первому этажу, Миша облюбовал комнату бывшей парикмахерской. Выпили с Иваном Федосеевичем по рюмцу... Теперь Миша жил среди зеркал, один, сам себе хозяин. Это принесло ощущение защищённости. Односменная работа помогла вжиться в литературный режим. С оказией мы переправили ему из Перми пишущую машинку.

Писал домой шутливые письма: «Избави боже от тоски — ходить в сортир по-воровски!» (В общежитии не работала канализация, и люди бегали в кусты на так называемое Поле дураков — пустырь напротив, где собирались алкоголики.)

* * *

Облака, облака...
Над летящими в хмаръ колокольнями
Ветры гонят и гонят
Остатки легенд и былин.
Чем-то вы мою жизнь,
Мою ниву судьбы так напомнили,
Сиротливые церкви
И тучи в бездонной дали.
Чувство вечных утрат,
Непонятно каких опасений,
Разобрать не могу —
На каком языке говорят,
Будто я, проходя,
Упаду в гололедье осеннем,
И прольётся навек
Невзначай опрокинутый взгляд.
Мокрый снег полетит
На ресницы
Так грустно, так цепко!
Поплынут облака,
Осенив мой печальный удел.
А над берегом также
Стоять будет древняя церковь,
На которую я,
Проходя по России,
Глядел.

ОСЛЕПШИЙ ЛЕБЕДЬ

Здесь я в детстве летал!
И в нежнейшем ракитовом лепете
Есть мой радостный голос.
Так больше теперь не поют.
Злые силы меня
Превратили в ослепшего лебедя
И пустили на волю,
Открыв заповедник-приют.
Крылья волю почуяли,
Если взлетали, вы знаете!
Небо, воля и крылья,
И ветры манили меня.
Ведь глухие сердца
Не сумели лишить меня памяти —
Чем я жил и живу,
Буду жить до последнего дня.
Запах жёлтых ракит.
...За последними, может, метелями,
Там, в суровом краю,
Если слышишь меня,
Ты поймёшь,
Для кого на земле,
Окантованной пихтами-елями,
Пишет тайные знаки,
Шипя по периметру, дождь.
Время жёлтых ракит...
Как мы поздно становимся мудрыми,
Так нелепо приветствуя
Мыслей не наших полон.
Лики храмов бревенчатых,
Слушайте голос заутрени:
Возвратилась душа моя
К вам,
На последний поклон.

* * *

Отшумела весёлая роща.
По индеви — копоть.
В обеззвученной серости
Низко кружат сизари.
Тихий облачный край,
Сколько ж мне ещё
Крыльями хлопать,
Чтоб до первой звезды
До своей
Дотянуть, до зари?
Скоро в поле и в рощу

Шарахнется ветер кручёный,
На широтах судьбы,
На долготах звения на крутых.
Шумовые метелицы —
Белые птицы Печоры
Полетят,
Ослепляя глаза поездам Воркуты.
И по улицам
Древним вечерним —
Прохожие редко.
Вологодские храмы
Оденутся в белый наряд.
И пойду я один
На вокзал,
На восточную ветку,
Пассажирский встречать,
Проходящий «Свердловск — Ленинград».
Знаю точно:
Не встречу ни друга в окне,
Ни соседа.
Растерялись, разъехались...
Мало ли —
Лет пятьдесят.
И назад побреду,
Воротник приподняв,
Непоседа.
Всё никак не доеду домой,
По стране колеся.

* * *

Плачу я, что ли,
Листвою осеннею наземь...
Что-то привиделось,
Что-то припомнилось мне...
Поле ты, поле,
Единственный свет мой
И праздник!
Тени дождей,
Отражённые в давнем окне.
К ним припаду,
Чтобы памятью
Здесь отогреться.
И загудят
Мне в зелёных полях
Поезда! И зазвенят
Проржавевшие
Старые рельсы,
Что заросли
И теперь не ведут никуда...

* * *

Всё прозрачнее
Верб купола.
Что-то рвётся во мне,
Что-то ропщет.
Может, юность
Внезапно взошла,
Словно месяц
Над дальнею рощей?
Кто ты? Где?
Отзовись... Не молчи.
Здесь душа
Что-то ищет незряче:
То ли кто-то
Забытый
Кричит,
То ли кто-то,
Отвергнутый,
Плачет.

* * *

— Душа моя,
О чём жалеть?
Так много здесь
Прошло бесследно —
На этой горестной земле,
На рубеже моём последнем...
— О том,
Что билось и рвалось,
О том, что плакало и пело,
О жизни,
Что любил до слёз
Так тяжело и неумело.

* * *

Дни мои
Давние,
Словно под сердцем
Осколки.
Гляну в былое:
Как трудно
Прожил на земле!
Что-то забылось...
И всё-таки
В памяти столько,
Что для другого
Хватило б

На тысячу лет.
Прежде,
Чем стану землёй,
Поклонюсь троекратно
Отчemu полю,
К которому
Болью приник.
Ты не поток,
Уходящий в меня
Безвозвратно, —
Входишь,
Навек превращаясь
В горючий родник.
Мир мой осенний,
Отрада моя и спасенье,
Видишь —
Над лугом
Над бывшим
Туманный платок...
Мир мой осенний,
Надежды моей воскресенье,
Не обдели меня
Поздней твоей теплотой.

Предвестный свет

«Предвестный свет». Казалось бы, что особенного в этом сочетании? А между тем, из-за этого названия сборника в 1985 году редактор Северо-Западного книжного издательства (г. Архангельск) Елена Шамильевна Галимова попала в больницу.

Появление Михаила Николаевича литературная Вологда восприняла благожелательно, что пермяков удивило. Ещё когда мы готовились к переезду, друзья качали головами:

— Пробиться трудно везде. Но если в других городах могут появиться хоть какие-то возможности, то Вологда — нулевой номер. Там писатели стоят плотной стенкой и «чужих» не пропускают.

Чужих! Но Миша появился по рекомендации непререкаемого в этих краях авторитета. (Там услышал обиходное в этих местах название Союза писателей — «Союзпис». «Союз... как?» — переспросил.)

Его начали печатать местные газеты: «Вологодский комсомолец», «Красный Север». В 1985 году готовилось празднование 40-летия со Дня Победы. Особо патриотично настроенной публики среди пишущей братии не было, и странным образом на эту роль неплохо смотрелся Михаил. Тема Родины у него звучала очень искренне. В нём пробудился маленький солдат сорок первого года, уста которого были зашиты не одно десятилетие, и вот теперь он с каждым стихотворением всё ярче обретал собственный голос!

...Тема войны глазами детей в то время в советском искусстве была уже достаточно развита. Наиболее ярко это проявилось в кинематографии, вершинами можно считать фильмы Андрея Тарковского «Иваново детство» и Элема Климова «Иди и смотри». Не будем сравнивать начинающего поэта со знаменитыми режиссёрами по выразительности и мастерству, но интересно, что он начинает там, где они завершили. Ни у Тарковского, ни у Климова не звучит то, о чём Сопин говорит в стихотворении «Ветераны»: «Опасны не раны, а сердца поразившая ложь!»

Конечно, всё это ещё достаточно декларативно, скорее заявка. Но пройдёт совсем немного времени, и тема станет едва ли не главной.

Перестройкой в обществе ещё и не пахнет, а в стихотворении «Октябрь. Воскресный день...» («Предвестный свет», 1985 г.) читаем:

То в пламень чувств,
То в стылый веря разум,
Юродствуя,
Сметая алтари,
Стремясь со злом —



В себе! —
Покончить разом,
Мы столько бед
Успели натворить.

Там же, «Боль безъязыкой не была...»:

...Я сам творил тот суд посильно,
Чтоб смертный приговор отцу
Не подписать рукою сына.

Официальное общество ещё полно самодовольства. Даже мыслящая интеллигенция, собирающаяся на кухнях, видит в своём противостоянии официозу нечто героическое. А Сопин уже без иллюзий: «...Гляну в зеркало. Вздрогну. И сам от себя отшатнусь».

(Хочется высказать замечание относительно его манеры «рваной строки». Многих она приводила в недоумение, мне самой частенько хотелось «ужать». К тому есть и чисто практические соображения: рваная строка занимает слишком много места на странице, а за всё надо платить. Но Миша категорически не соглашался. Он очень большое значение придавал каждому акцентному слову, даже местоимению, вынося их в столбик. Получалось как бы биение пульса.)

...Кожинов переслал свою рекомендацию, адресованную Пермскому книжному издательству, в Архангельск. Сделал несколько поправок (убрал выпады против известных мастеров), а в остальном сгодилось. Вторую рекомендацию дал секретарь Вологодского отделения Союза писателей В. А. Оботуров.

Назначили редактора — Елену Шамильевну Галимову. Это можно было считать счастьем: попасть к специалисту, который так тонко чувствует русское слово! Её профессия была наследственной — отец прославился как исследователь-собиратель поморского фольклора.

Впоследствии она скажет Михаилу: «Ваша книжка была для меня редкостью и радостью. Не помню уже, сколько лет не работала с таким удовольствием». Другой сотрудник издательства заметил: «Эту книжку можно разорвать по листочкам и раскидать по разным рукописям, а потом собрать и безошибочно назвать автора».

Но работа потребовались большая. Сроки «под юбилей» дали сжатые — два месяца, а рукопись была пухлой. Почти каждое стихотворение возвращалось с почеркушками, восклицаниями-вопросами, плюсами-минусами, замечаниями типа: «А м. б. (может быть), лучше так?». И неоднократно! Долго бились над стихотворением «Ударю в ладони и вздрогну!». Елена Шамильевна считала его для рукописи принципиально важным, а автор никак не мог довести до кондиции.

Оттрубив смену по слесарной профессии, Миша залегал на диван в дальней комнате нашей, уже вологодской, «хрущёвки», закрывал дверь и заполнял пространство табачным дымом. Иногда это продолжалось далеко за полночь. Мы с детьми оставались в ближней: я на диване, один сын на раскладушке, другой на полу...

Миша вспоминает, что жил тогда «на разрыве». К нему ещё никогда не предъявляли сразу столько требований. Очень хотелось, чтобы книжка

вышла, и было ощущение опасности, что рукопись изменится к худшему. Понимал, что она слишком велика по объёму, и было всего жалко. Признался: когда редактор принял работу, почувствовал себя настолько измочаленным, что «сил хватило только на то, чтобы выдохнуть воздух, а скажи, что надо переделать ещё раз — рухну и не встану».

Однако созворчество с Галимовой оказалось на пользу. Пошли новые добротные стихи: «Снега и синицы...», «Всё прозрачнее верб купола...», «Дни мои давние...», «Если выйти в поле...», на фоне их стало терпимее расставаться с более слабыми. В то же время, другие стихи урезались, и не всегда понятно, почему. Так, от «Узкоколейки» был отрезан «хвост», Миша очень об этом жалел. В стихотворении «Плытвёт метель над крышей» словосочетание «стоит еврей-скрипач» заменили на «стареющий скрипач» (про евреев писать не полагалось?). Вместо «Роковая звезда бездорожья» стало «Ни огня. Лишь звезда бездорожья...» (Вместо напевности — спотыканье.) Но разве могло быть в нашей бурной жизнерадостной жизни что-то роковым?!

Впоследствии мы узнали, что Елена Шамильевна была ни при чём. Она сама попала с этим сборником «в переплёт». Заставляя Мишу работать, перед своим начальством отстаивала то, что считала важным. Не всегда это было возможным. Потом она говорила: даже то, что в конечном счёте вышло, можно считать прорывом.

Неожиданным препятствием к публикации стало название сборника. Миша назвал его «Предвестный свет», что привело начальство Галимовой в замешательство. Какой может быть предвестный свет, когда и так светло? Это что ещё за намёки? Какие следуют ожидать вести? Но тут Миша упёрся. Он стал объяснять по телефону, что это всего-навсего означает свет грядущей Победы для мальчика сорок первого года. Там и строчки в стихотворении («1941») есть: «То знаменье ли, знамя? Предвестный свет грядущего огня...». Объяснение было признано убедительным, и название оставили.

К сожалению, Галимова была первым и последним редактором, которого Миша вспоминал с глубокой благодарностью: «Вечно стою перед ней на коленях».

А для него самого выход поэтического сборника имел ещё одно важное значение: он перестал «укрываться» от собственных сыновей. Раньше мы с ним не говорили детям о прошлом отца, боялись. Ведь они — воспитанники советской школы, и у них могло возникнуть чувство неполноценности, если рядом с именем отца будет «тюрьма, лагерь». Но вот лежит книжка тиражом в пять тысяч экземпляров, на ней напечатано: Михаил Сопин; и теперь он, состоявшийся поэт, имеет право не стыдиться судьбы, высказывать мнение, каким бы непривычным и парадоксальным оно ни казалось!

* * *

Ударю в ладони —
И вздрогну:
Какой я счастливый!
Цветёт и шумит

То, что будет
Войной сожжено.
Ударю в ладони —
Обвалится иней,
Как ливень.
С годами — всё тише.
Потом перейдёт в обложной.
Забытое вспомню:
Деревню,
Ребят и салазки!..
Лежанка гудит.
И сижу я —
Ладони к огню.
Заплачу от счастья,
Придумаю нежность и ласку,
Как был я любим,
Проходя по земле,
Сочиню.
Когда от печали —
Ни света,
Ни слов,
Ни спасенья,
Как будто ты загнан
На речку,
На тоненький лёд —
Мне радует сердце
Беседа со степью осенней.
Зажмурюсь — и тут же
Над памятью
Солнце встает.

* * *

Снега и синицы!
Живут же —
Такими невинными!
Раскинула чёрный
Судьба надо мной парашют.
Мне снится — не снится
В полуночь
Луна над овинами,
И я на коленях
О чём-то
Кого-то прошу...
Снега и синицы!
Живут же —
Такими беспечными!
Прости меня,
Кто-то,
Не знаю, за что —

Но прости...
И дальше иду
По годам
И с годами заплечными:
Не знал я, не ведал,
Что память
Так тяжко нести.
Снега и синицы!
Живут же — такими весёлыми!
А я прохожу
По размытой зыбучести дня.
И яростно мёрзну,
Шагая горящими сёлами,
И память
Из прошлого
Не отпускает меня...

* * *

Боль безъязыкой не была.
Умеющему слышать — проще:
Когда молчат колокола,
Я слышу звон
Осенней рощи.
Я помню —
В зареве костра
Гортанные чужие речи,
Что миром будет
Править страх,
Сердца и души искалечив.
Так будет длиться —
К году год,
Чтоб сердце праведное
Сжалось.
Любовь
Навечно отомрёт
И предрассудком
Станет жалость...
Но дух мой верил
В высший суд!
Я сам творил
Тот суд посильно,
Чтоб смертный
Приговор отцу
Не подписать
Рукою сына.

ЛОСЬ

Вспыхнет выстрел.
Стает дым зыбучий.
Заскользжу я,
Будто бы по льду.
Закружусь,
Отчаянно и жгуче,
И к земле
Печальной припаду.
Припаду теперь
Уже навеки,
Вечность
Сердцем
Ощущив в ночи,
Как снежок
Опустится на веки,
Птица-ворон
Где-то прокричит.
И заплачу.
Горлом перебитым
Прохриплю
В нетленный
Свет небес
О душе,
Сорвавшейся с орбиты,
В первый раз
О жизни
И себе.

* * *

Лунно. Просветлённо.
Тучи дальние.
Вечер тих.
Посвети,
Вечерняя звезда моя,
Посвети.
Через выюги,
Через поле льдистое
Посвети мне, Русь.
Я приду к тебе,
Одной-единственной,
Сердцем отзовусь.

* * *

Октябрь.
Воскресный день.
Воронья стая.

Ну что, душа,
Что стало нам ясней?
Как много выюг
Легло в судьбу,
Не тая.
И снова — снег.
Октябрьский. Первый снег.
То в пламень чувств,
То в стылый веря разум,
Юродствуя,
Сметая алтари,
Стремясь со злом —
В себе! —
Покончить разом,
Мы столько бед
Успели натворить.

* * *

Ещё люблю —
Как никогда —
Поля вечерние,
Былинные.
И поезда,
Но поезда
С дымами
Низкими и длинными!
Ещё влекут меня
Пути
И перелески золочёные,
И переклички звёздных птиц,
Над бездной
Белою и чёрною.
Еще не кончена страда:
Пою.
Дышу.
Касаюсь озими,
Пока не вымыты года
Судьбы моей
Дождями поздними.

ПЛЫВЁТ МЕТЕЛЬ

Плывёт метель по крыше.
И пляшут во дворе
Снежинки ребятишек,
Как стайка снегирей.
Фруктовые улыбки!
Потоки слов вразнос!

Лишь ветер —
Словно скрипка,
Охрипшая от слёз:
То жалобно, то гулко,
То медленно,
То вскач...
Как будто в переулке
Стоит еврей-скрипач.
Не тает снег на шляпе
И на воротничке,
И грядь светлых капель
Застыли на смычке.

* * *

Путь-дорога
Раскатная, санная,
Лихо под гору
Шла до поры...
Всё ли отдано
Нежное самое
Беззащитным сердцам детворы?
Сколько помнится,
Сколько не помнится!
Оттого-то и сердцу больней —
Всё пронзительней
Свет над околицей,
Чистый свет
Остающихся дней.

* * *

И будет дождь.
И ветер —
Лют, отчаян!
Увижу жизнь —
Как чай-то
Свет в окне.
И навсегда
С бытым
Своим прощаясь,
Прощу я тех,
Что не прощали мне.
И будет ночь —
Безбрежная,
Как вечность.
И встану я
У краешка в ночи.
Через обрыв

Печалью человечьей
Мне
Дальний голос
Предков
Прокричит.
Осенней ночью
Тоненькой струною
Порвётся жизнь.
Душа моя
Сгорит
И полетит
Над миром и страною
Печальным светом,
Как метеорит.

Тёмным бродом

Стихотворение (или маленькая поэма) было написано в 1987 году, напечатано в 1990. Однако тогда оно не сопровождалось комментарием о дедах, это всё равно не опубликовали бы. Мы сделали это впервые в Интернете на сайте «Стихи.Ру» в 2003 году и по откликам читателей увидели, насколько это было необходимо. Произведение сразу стало объёмным.

Подлинность в наше время поражает больше, чем даже очень хороший художественный вымысел. Всё, что о дедах — правда. Единственное, что можно добавить — таких судеб по родственным линиям было больше, всех доподлинно Михаил в силу возраста знать не мог.

Наверное, толкований стихотворения «Лунным полем, тёмным бродом» будет много. Я же хочу сказать только об одной фразе:

Два железных
Мне колечка
Молча на руки надел...

Мне это видится обетом молчания, которое наложили деды, сами того не ведая, на судьбу внука. Восемьдесят с лишним лет о таком в нашей стране было опасно говорить. Только сейчас появляются нетрадиционные толкования мотивов восстания Нестора Махно. А что касается внука...

Вольный ветер.
Сам я волен.
Время сгладило межу...

ЛУННЫМ ПОЛЕМ, ТЁМНЫМ БРОДОМ

Памяти моих шестерых украинских дедов по материнской линии:
Афанасия (пропал в первую империалистическую);
Григория и Михаила-старшего — дроздовцев; Никиты — махновца;
Петра — деда по прямой линии (в гражданскую — комкор и комиссар, в Великую Отечественную — рядовой, погиб на фронте);
Михаила-младшего (при немцах служил в полиции, ездил на белом коне; был арестован СМЕРШем, но освобождён по указанию из Москвы; впоследствии работал начальником смены на шахте «Узловая» и был убит при невыясненных обстоятельствах — похоже, сводили счёты).

Пуля — с фронта.
Тыл — немилость.
Жизнь — ракитовый листок.
Солнце к западу скатилось.

Белый месяц — на восток.
Тучки в небе
Хмарью строгой.
У калитки два коня:
Поджидают в путь-дорогу
Други-недруги меня.
Вьётся Ворскла под горою.
Рожь во поле —
К ряду ряд.
О таких, как я, героях,
Тихо в полночь говорят...
Пропадёшь, метель залает,
Мужики подтянут в лад:
«Ах, зачем ты,
Доля злая,
До Сибири довела».
Так веками и годами,
Выходя за ветряки,
Вложат в песню
Смысл кандальный
Про Сибирь,
Про Соловки.
Так и я.
Того же корня:
Долей, кровью, волей — в масть.
Да не вышло мне — покорно
Здесь вот
Намертво упасть.
Чёрны вороны полями.
Что мне, други, суждено?
За одним столом гуляли,
Пели песни про одно:
Всё про дролю да про волю,
Да растреклятую вражду,
Про могилку под травою,
Коль придётся на роду.
И пришлось бы...
Где ж напрасно
Льётся кровушка ребят:
Кто — за белых,
Кто — за красных,
А всё, землица, за тебя.
Вот и я,
Глухой порою,
Доли злой не сторонясь,
Без призыва стал героем.
Путь — железная стерня.
«Далеко ль, — спросил я, — други?»
Но друзьям не до меня.
Только свистнули подпруги.
Прокатился храп коня...

Старший молвил: «Недалечко!»
Младший в небо поглядел.
Два железных
Мне колечка
Молча на руки надел.
Боль отпустит да нахлынет.
Ни ответа, ни кивка.
Я всё полем да полынью.
Други в сёдлах — по бокам.
Шёл я лесом,
Шёл я лугом.
Годы — речкою круги.
Где-то там остались други.
Лиши прощались — как враги.
Тучи — небом.
Травы — долом.
Ни ночлегов, ни коней,
Ни товарищей, ни дома,
И дороги в память нет.
Вольный ветер.
Сам я волен.
Время сгладило межу.
Тёмным бродом,
Лунным полем
Путь заветный прохожу.
А за речкой, за рекою,
В милой сердцу стороне —
Полно, можно ли такое?
Сон тяжёлый
Снится мне...

* * *

Перед тем,
Как душой надорвусь,
Перед смертью хотя б
Распахни мне,
Отечество,
Двери
В Дом Свободы,
В Дом Правды,
Распахни,
Я прошу тебя, Русь!
Мне бы только взглянуть...
Тяжело умирать, не поверив.

Я рождаюсь вот здесь...

Циклы «Я рождаюсь вот здесь...» и «По разломам военной земли» написаны в 1983–1987 годах. Циклами они не задумывались. Стихотворения создавались в разные годы, на самом деле их гораздо больше. Подборки составлены мной, чтобы помочь читателю проследить жизненный и творческий путь.

По ним видно, как быстро рос поэт. Стихотворение «Ветераны» относится к 1983 году. Оно эмоционально и искренне, но ещё достаточно традиционно, плакатно:

За надежды,
Что были до мая,
За убитых и проклятых нас
Я уже никогда не снимаю
Окровавленных
Дней ордена...

Хотя... стоп! Уже здесь есть строчка, резко нарушающая общепринятое в те годы восприятие итогов войны: «За убитых и проклятых нас...».

Роман Виктора Астафьева «Прокляты и убиты» был опубликован в начале девяностых годов. Но «Предвестный свет», откуда взято стихотворение «Ветераны», вышел в 1985. Получается, что Астафьев и Сопин, каждый в своём жанре, шли в сходном направлении.

В 1987 году мысль углубляется, а краски сгущаются, становятся мрачнее:

Так народится гриб-гибрид,
Зачатый страхом и пороком.
И мост Истории сгорит,
Края обуглив
Двум дорогам...

Поэт будет заглядывать в Историю не только бесстрашнее и глубже, но и мудрее.

Я по крику,
По хрипу,
По шёпоту
Различу своего и врага... —

пишет он о себе — подростке военного поколения. Несколько годами позже:



На стон своих я отозвался,
Затем услышал крик чужих.

А потом — вообще:

...Бой отгремел.
В подлунном мире
Ни белых, ни большевиков.

Подобно Марине Цветаевой, он любит жизнь прощанием. Он и в жизни всё время чувствовал себя на краю, от лирического: «Стою над обрывом. Улыбчиво плачу о чём-то...» — до трагического:

Здесь жаждал я воли!
И вот от немыслимой воли,
Как будто у края
Развёрстой завис полыньи.

И я в семейной жизни часто чувствовала возможность близкой разлуки навсегда... Хорошо зная строчки:

Дай силу, мысль моя, заступница,
На самом смертном в жизни рубеже!
(2003 г.)

— я открыла изданный двадцатью годами ранее «Предвестный свет» и даже с некоторым удивлением прочитала почти то же самое:

...Так многое здесь прошло бесследно
На этой горестной земле,
На рубеже моём последнем...

Ощущение созрело уже тогда и не отпускает, но с годами становятся более выразительными поэтические средства.

И еще одна особенность, которая сопровождает практически всё творчество Сопина. Я иногда его спрашивала: «Как ты пишешь?» — «А я вижу то, что пишу. Смотрю и описываю». Но, находясь мысленно в прошлом, он всегда знает, чем всё это кончится, и даёт оценку, как правило, жёсткую. Нежность обрывается трагедией:

Гляну в зеркало. Вздрогну.
И сам от себя отшатнусь...

Он почти всегда смотрит на события с двух-трёх точек зрения: из прошлого и настоящего, иногда из будущего. Это делает стихи объёмными, рождает стереоэффект.

Интересно, что в его стихах мало столь любимого всеми пишущими обращения к раннему детству. Это, конечно, не значит, что у маленького Миши не осталось довоенных впечатлений. Но 1941 год дал такой резкий облом, что поэт обозначит другую дату своего рождения:

«Я рождаюсь вот здесь, в сорок первом...»

И самого начала войны в стихах нет. В сорок первом мальчику уже десять лет. Наверняка он слушал военные сводки, участвовал в проводах на фронт. И всё же для ребёнка это пока достаточно абстрактно. Он рассказывал о первом настоящем эмоциональном потрясении: по степи разбегаются кони. Это начинались бомбёжки:

Вбирает даль,
Распахнутая настежь,
Безумный бег,
Срывающийся всхлип.
Им несть числа!
Ночной единой масти
Исход коней
С трагической земли...
(«1941»)

И снова появляется двойное зрение:

Я жив ёщё.
И до конца не знаю,
Как это всё
Пройдёт через меня.

Мальчик, конечно, не знает — разве что тревожно предчувствует. А автор знает очень много...

В войну, в двенадцать лет, были написаны первые стихи под впечатлением стихов Виктора Гусева: «А за окном седой буран орал. А за окном — заводы, снег, Урал...».

— Я сидел в хате, а за окном была метель. И вдруг стало что-то возникать в голове... Это поразительно — через полтора десятка лет меня повезут на тот самый Урал под конвоем, но в сорок втором это было смутное ощущение, от которого появилось желание заплакать словами от страшного дискомфорта души. И от этого желания — к первой мохнорылой попытке...

(Из литературной записи «Речь о реке», 1995 г.).

* * *

Ветряки пламенели
От червонного ^
Цвета заката.
Мужики собирались
И пели —
До стыни в груди!
Про зозулю-кукушку,
Что летела
Над отчёю хатой...
Как лихих запорожцев
Атаман Дорошенко водил...
Пахло осенью терпко.

И возраста не было в теле.
Жизнь была ещё вечностью.
Сердце не знало тоски.
Над осенними вербами
Птицы летели,
Летели,
В чистом небе вечернем
На степь развернув косяки.
Закачалась земля.
А потом
В тишине
Кто-то просто
«Умираю...» — сказал.
(Я скорее прочёл по губам.)
Разбегались стада.
Табуны торопились по просу.
Начиналась война.
Счёт иной
Открывала судьба.
Пахло гарью и горечью
Поле под Красной Яругой.
Крестокрылые
Небо взорвали,
Мою тишину.
А потом
Много жизней
Пройду я,
Сомкнув круг за кругом.
Гляну в зеркало.
Вздрогну.
И сам от себя отшатнусь.

ДОЖДЬ СОРОК ПЕРВОГО ГОДА

Низкое небо.
Подводы.
Ночь. Непокой. Неуют.
Дождь сорок первого года
Падает в память мою.
Медленно.
Косо.
Отвесно.
Кажется —
Вечность шуршит
Каплями будущих песен
В детское поле души.
Будто бы хочет впечатать
Всё, что кончается здесь:
Неповторимость печалей,

Неповторимость дождей.
Неповторимое детство —
Этот мгновенный пролог,
Зная,
Как долго мне греться
Памятью этих дорог.

1941

Ни седоков,
Ни окриков погони —
Видений бег?
Сквозь лунный хуторок
В ночное поле
Скачут,
Скачут кони
В ночное поле,
В призрачность дорог.
Вбирает даль,
Распахнутая настежь,
Безумный бег,
Срывающийся всхлип.
Им несть числа!
Ночной единой масти
Исход коней
С трагической земли.
Багровый свет —
То знаменье иль знамя?
Предвестный свет
Грядущего огня...
Я жив ещё
И до конца не знаю,
Как это всё
Пройдет через меня.

АВГУСТ

Медленно падает
В землю крестом колокольня.
Падает вечность
На белые лица солдат.
Огненным было
В том августе Небо и поле.
Красные травы.
И красная в речке вода.
Тем, кто останется,
Будут иные рассветы.
В тех, кто уходит,
Понятъя уже смещены.

Жизнь, что за болью,
Теперь непонятного цвета:
Августа, смерти,
Пожара, Ночей
И войны. Я не ушёл.
Но в сегодняшнем
Мире великому
Вдруг задохнусь
Давним августом
В красной пыли
И закричу,
Раздираемый сотнями криков
Тех, что живыми
Сквозь август
Пройти не смогли.

* * *

Дым над осенью,
Резкий и синий.
Едкой гарью
Октябрь напоён.
Дым. И дождь
По военной России,
Проникающий в сердце моё.
Дождь:
По горьким солдатским усмешкам,
По глазам,
По стальному стволу.
Догорают избы головёшки.
А над полем — кувшин на колу...
Кони. Кони.
Блестят, как тюлени.
Где-то справа машины гудят.
Прикрываю руками колени,
Меж лопаток —
Мурашки дождя.
И не знаю, зачем,
Но запомню:
Что-то слышно
В недальней пальбе.
Что-то думают мокрые кони
О своей
И о нашей судьбе.
Начинается новая эра,
Отсекая дороги назад.
Я рождаюсь вот здесь,
В сорок первом,
Мёртвым сверстникам
Глядя в глаза.

Что случилось,
 Молодость,
 С тобою?
 Говори
 И не щади меня.
 Расстреляв последнюю обойму,
 Почему не вышла из огня?
 Почему,
 Взрывая крепость быта,
 В сердце бьют
 Обугленные дни?
 Сколькох мы оставили убитых,
 Так и не успев
 Похоронить!
 Поле, поле...
 Поле не пустое.
 Я до самой смерти
 Пронесу —
 Жители,
 Спешившие на стоны,
 Псов голодных
 Видели в лесу.
 Я поверю
 Снам и ворожеям.
 Молодость,
 У скорбного села,
 Почему осталась в окруженьи
 И ко мне
 Пробиться не смогла?!

Вспомню — плачу.
 Не могу. Нет власти:
 Слышу,
 Вижу,
 Как идут бои.
 На бегу
 Редеющие части —
 Годы отходящие мои.

ОГНЕВАЯ СТРАНА

Забери меня, память,
 Домой пусти,
 К тем дымам,
 Что гуляли в овсе.
 Огневая страна моей юности,
 Ты во мне —
 Навсегда, насовсем.
 Обними меня

Давними стужами,
Чтоб не смог я
Уйти никуда!
Ослеплённый тобой
И контуженный,
Не в свои
Завернул я года.
Ни огня.
Ни окопа.
Ни выстрела.
Раскалённый
Подай карабин!
И дождями
Бинты мои выстирай,
Забери ты меня,
Не губи.
Что ж ты, Родина,
Что же ты,
Что же ты?..
Никогда я не был наугад.
Я по крику,
По хрипку,
По шёпоту
Различу
Своего
И врага.

По разломам войной земли

Юз Аleshковский устроил бунт в армии в 1949 году, за что был осуждён на четыре года, а впоследствии эмигрировал. Михаил Сопин сделал примерно то же самое через два года, был признан шизофреником, и это клеймо осталось на всю жизнь. Случилось это так.

После войны Мишка, имеющий к тому времени пятиклассное образование, жил с бабушкой на Курщине, работал в колхозе. Потом вернулся в Харьков, кончил ремесленное училище.

Вместе с матерью трудился токарем на заводе, где когда-то служил испытателем танков его отец. Но надолго там не задержался — ушёл бродяжничать вместе с подростками, сбежавшими из колонии Макаренко. Ребята «прокатились» до Владивостока и обратно. В 1949 году Михаил был арестован за хранение оружия. Отбывал на строительстве котлована Цимлянской ГЭС. Через полтора года освободили по амнистии. И почти сразу — армия. Михаил был зачислен в танковый десантный батальон — по тем временам войска элитные. Он был водителем-механиком.



О послевоенной Красной Армии обычно отзываются хорошо: дедовщины ещё нет. Однако вспомним фильм «Анкор, ещё анкор», который не могут простить режиссёру Петру Тодоровскому генералы. Были, были и в той армии свои проблемы...

Одна из них — расслоение: молодых офицеров, «не нюхавших пороха», и призывников, побывавших в полосе боевых действий. Опалённые войной не признавали унижения, неуважения к личности, мелочных придирок. Они легко вступали в конфликты, реагировали нервно, могли стать непредсказуемыми в поведении. Например, заходит лейтенант в казарму перед сном, требует выстроиться по форме, а солдату надоело обуваться-разуваться. Он сунул портнянки под матрац, а сам голыми ногами — в сапоги. У лейтенанта взгляд зоркий:

- Это что такое из-под матраца торчит? Что за сопли?
- Это не сопли, а солдатские портнянки!
- Мо-олчать! Ты в какой армии служишь?
- В американской!
- Что-о-о?
- Вы что, сами не знаете, какая здесь армия? (И поехало-пошло...)

Или так: в час ночи, когда сон солдата должен быть особенно крепок, его вызывают в штабную комнату на проработку. Михаил сорвался и, схватив автомат, побежал за лейтенантом, а когда его стали загонять в угол,

забаррикадировался в оружейной комнате с винтовками, готовый отстреливаться до последнего.

Армейскому руководству хватило мудрости уговорить солдата сдаться, а доводить дело до трибунала не захотели: это бросило бы пятно на образцовую часть. Проще представить взбунтовавшегося солдата «дуриком». Михаила отправили в больницу, где он объявил голодовку. Впоследствии был списан с воинской службы с «волчьим билетом», в котором указывалось, что такой-то по состоянию здоровья не имеет права работать с техникой, моторами и вообще быть принятим на престижную, оплачивающую работу. Этот «пунктик» сопровождал Сопина по всей жизни. Приходит, бывало, устраиваться на работу сантехником, а там требуют паспорт и военный билет. В паспорте отметка: выдан по справке об освобождении из мест заключения. А в военном билете...

Михаил по карманам похлопает и, как бы опомнившись, улыбнётся широко:

— Забыл дома! Да вы на меня посмотрите: ну конечно, военнообязанный! Разве не видно? (Фигура крепкая, грудь колесом.)

При тех должностях, которые он занимал, формальности не соблюдались...

* * *

Когда первый мороз
Опушит
Тополя чистым мехом,
Кто-то в окна стучит
И зовёт,
И ответ мне даёт:
«Это я,
Твоё имя,
Пропавшее без вести эхо,
Перекатная голь,
Беспризорное детство твоё».
И туда обернусь,
И сюда погляжу:
Как ты? Где ты?
Я же сам очевидец:
Ты убито...
Ахтырка... Бои...
А на тёмном стекле
Обнажённо,
До резкого света:
Ирреальная явь,
Тёмно-красные слезы мои.

* * *

Дымя,
Мимо изб,
Мимо пашен

Раскатно
Грохочет состав!
А юность
Мне машет и машет,
Тревожно
На цыпочки встав.
В бушлате,
Худая-худая,
Как в послевоенном селе,
Наверное, знает — куда я,
Глядит обречённо вовсю.
Бомбёжки,
Составы,
Обвалы
В жестоком остались былом.
Когда же ты, жизнь,
Миновала,
Со всем, что сбивало и жгло?!

По сердцу —
Скребущие звуки.
Постой!
Обернись в пол-лица...
Скажи мне,
Что этой разлуке
Не будет. Не будет конца!
Скажи!
Я смогу возвратиться!
Хотя бы ладонь подымы!
Но поезд —
Ах, чёрная птица!..
Крылато качает дымы.

* * *

Как трудно уходить
Из той поры:
Открыл окно,
И в спелый дождь —
Руками!
За садом звёзды,
Что твои костры.
Какое счастье
В этой жизни —
Память!
Давным-давно
Не тот уж
Блеск в глазах.
И мир не тот —
От яви до преданий.
А я и сотой доли не сказал

О том, что слышу,
К полю припадая.
Здесь, на земле,
Случилось это всё:
Ни ты меня,
Ни я тебя не бросил.
Но мёртвый ветер
Разорёных сел
Нам не оставил
Ни руля, ни вёсел.
Холодные,
Голодные года
Сменили грохот
Тола и металла.
И вышло так,
Что вдруг и навсегда
Нас по Отчизне горькой
Разметало.
И мы с тобой
Такие не одни.
Ты говорила:
«Если выйти в поле,
То будет слышно,
Как летит над ним
Молчанье душ,
Запекшихся от боли».

* * *

Разметало
Сиротские рати
По разломам
Военной земли.
Никогда
Не собраться нам,
Братья.
Лиховеи наш путь замели.
За надежды,
Что были до мая,
За убитых
И проклятых нас —
До конца пронесу,
Не снимая,
Окровавленных
Дней ордена.
Бей сильнее,
Неистовой,
Память!
Всё равно
Я на зов твой приду

В ту страну,
Что лежит за холмами,
В октябре,
В сорок первом году.

* * *

Подрывались.
Пропадали.
Стыли.
Многих ветер в поле отпевал.
Даже до жестокости простые
Жизни той не выразят слова.
Жил и я.
Страдал, как всё живое.
И осталась
Память той беды —
Был заснят
С огромной головою,
А в руке —
Букетик лебеды.
Сверстники мои!
Мы входим в чащу
Тех снегов,
Что заметут виски.
Но по нашим
Судьбам преходящим
У живых
Не может быть тоски.
Мы пройдём —
И никуда не деться,
Как травой обочинной пыльца.
От того,
Что называют детством,
Сохраним
Бессмертные сердца.
Ранний свет,
Глубинный свет печали —
Молчаливый
Призрак наших лиц.
Мы ещё своё не откричали.
Мы ещё своих не дозвались.

* * *

И мысль горит, и жизнь течёт,
И есть у памяти свой счёт...
Страшась отцовского клейма,
Пойдут сыны без биографий.

От сына отречётся мать,
Ибо отрекшийся потрафил:
Рассёк связующую нить.
Ни общей доли нет, ни боли.
Кого отрекшимся винить
За четвертованную долю?
Так народится гриб-гибрид,
Зачатый страхом и пороком,
И Мост Истории сгорит,
Края обуглив двум дорогам.

* * *

Цепь — свобода.
Бред — авторитет.
Яд — надежда, хлеб грядущих лет.
И орёт
Под плотным кумачом
Проповедник,
Бывший палачом.

* * *

Я был
Не по своей вине
Живой мишенью
Мёртвых пашен:
Четыре года — на войне.
Полвека —
Без вести пропавшим.

* * *

Океан выгибает дугой!
Всё летит
Во взбесившемся гуде.
Ураган!
Ему нет берегов,
А вошёл —
Ураганом не будет.
Может быть,
Ты мне этим и мил,
Что другим никогда не бываешь:
Развернулся,
Пошёл направымик,
Разбивая
И сам разбиваясь.
Вот и я
Так по свету кружил,

Как в просторы
Рванувшийся ветер!
Задыхаясь,
Входя в виражи,
Расшибался о дамбы столетья.
Но любил свою жизнь,
Что была!
Пронесла меня
Вольным и битым,
Добела закусив удила,
По надеждам,
Годам и обидам.

* * *

Как жили мы,
Военных лет шпана,
Колёсная, подвальная, земная —
Пинки
Душа и кости пацана
Неизгладимо чувствуют и знают.
Пятнадцать лет —
Неволи окоём.
Но не ослеп
От суеты и рвенья.
Открылась тайна
В облике твоём,
Явилась жизнь —
Возможность откровенья.

Памяти моей лицо бескровное

Когда мы вместе задумали эту книгу, Михаил признался, что ещё при подготовке «Предвестного света» выработал творческое направление, которому старался следовать. Оно состоит из трёх частей: обретение голоса, исповедь, проповедь. У этой триады есть общее — историко-культурный камертон.

«Предвестный свет» можно отнести к обретению голоса. Три шага цикла «Памяти моей лицо бескровное» — более всего исповедь.



ШАГ ПЕРВЫЙ

«...Мы получали «высшее пенитенциарное» образование: буквы алфавита узнавали из переклички тюремных надзирателей. «На сэ есть, на рэ есть? Кто на хвэ?» — так выкрикали счастливцев, которым носили передачи родственники. Грамотой овладевали в «индиях», до дыр зачитывая обвиниловки, прежде чем пустить их на курево. («Индия» — камера, в которой сидели те, кому никогда ничего не приносили.) Арифметика — отсаженные и остающиеся по приговорам годы...»

(«Речь о реке»)

В Перми несколько стихотворений Миши на патриотическую тематику было напечатано в газетах. Одно из них даже получило третий приз в юбилейном конкурсе молодёжной газеты. Журналистка Таня Черепанова сказала:

— То, что у него сейчас публикуется, имени не сделает. Но у Михаила необычно богатая биография. И вот если он сумеет показать её во всей полноте...

Чтобы это пожелание начало воплощаться в жизнь, потребовалось не менее десяти лет. Пришлось набираться литературного опыта, а главное, занять позицию.

Эта позиция в свёрнутом виде определилась уже в лагерный период: «Я люблю Россию, но я с ней и спорю». Однако в целом протестность в творчестве для этого периода не характерна. «Лагерные тетради» по духу и по стилю более всего близки к раннему Блоку: поэт вслушивается в тревожную музыку бытия, не конкретизируя. Рассуждать детально он тогда был не готов и не хотел. Вспомним: ведь Сопин был осужден по уголовной статье, и нельзя сказать, чтобы совсем уж невинно. Мы не раз говорили на эту тему, Михаил честно рассуждал:

— Нас нужно было призывать к порядку — натренированное на бойне поколение огольцов самого удалого возраста, которым ничего не страш-

но. Те, кто старше — шли в бой под присягой. Маленьким ещё предстояло войти в жизнь под контролем взрослых. А у нас за спиной — ничего, кроме собственных понятий о чести и морали. С нами что-то надо было делать, и власть пошла по наипростейшему пути: придавить, выловить, уничтожить, приковать к лесоповалу...

«Акценты смещались: вражеской становилась многомиллионная армия агонизирующей безотцовщины. Скоро ей нашли «достойное» применение. За время войны опустели лагеря. Стали сажать повторно по 58-й статье (политических), но их уже не хватало. Надо было восстанавливать бывшую оккупированную территорию, откуда-то взять армию новых строителей, которые бы валили лес, долбили руду, клали кирпичи... Ужас и простота этих обстоятельств привели к людоедской политике. Бросили клич — выжигать калёным железом, хватать за бродяжничество, незаконное ношение оружия (валявшегося грудами везде), за воровство. Кого? Были орды бездомной шантрапы, брошенной на произвол судьбы, вынужденной себя кормить, греть, защищать. Выжившие в голоде и бомбёжке, выплюнутые войной и расшвырянные по белому свету, они же оказались обречены стать жертвами лагерей».

(«Речь о реке»)

На 15 лет Михаил «загремел» в 1955 году по поводу, до глупости не-значительному. Как-то шли большой компанией из кино, растянувшись на квартал — в очередной раз смотрели «Бродягу». Впереди идущие пристали к парню и девушке (отнять велосипед), показали нож. Те закричали, подоспела милиция: банда! Большинство взяли сразу, но «хвост» (в том числе Михаил) разбежался. Правоохранительные органы без труда установили имена всех.

Судили за разбой по Указу Президиума Верховного Совета СССР от 4.06.47 г. Указов было два: первый — об уголовной ответственности за хищение государственного и общественного имущества, второй — личного. Согласно ему, все виды такой провинности, вплоть до хищений самых мелких, наказывались лишением свободы на сроки очень большие (до 25 лет). Проступок, за который раньше могли дать пару месяцев, теперь наказывался «десяткой». Например, в документах того периода наш сын вычитал, как за семь килограммов украденной муки мужику дали семь лет лишения свободы. Пересмотр эта судимость не подлежала.

Вот что пишет по этому поводу в статье «Уголовное право как феномен культуры» («Известия высших учебных заведений», 02.03.1992) М. С. Гринберг:

«Важным элементом обеспечения экономических интересов тоталитарной системы был принудительный бесплатный или малооплачиваемый труд. Он обеспечивался отчасти трудом заключённых, а массовые репрессии служили источником пополнения».

В 1962 году вышел новый Уголовный кодекс, в связи с чем Указ потерял силу, а Михаил продолжал отбывать срок до 1970 года. «От звоночка до звоночка...» — горько повторял он, шагая по комнате, незадолго до смерти.

Сколько их было, таких осуждённых, — сотни тысяч? Миллионы? Считал ли кто-нибудь?

После смерти Миши я сделала попытку отыскать его уголовное дело в архиве УВД Пермской области. При содействии Вологодской писательской

организации был сделан запрос. Имя такое нашли, а дело — нет: «Не сохранилось». Нет документа — нет проблем. И понять, за что кого судили, уже невозможно. Виновны навечно...

Мы с Михаилом не раз рассуждали: его биография настолько уязвима, что её можно подавать с самых разных позиций, и всё будет правда. Захочешь осудить — уголовник, алкоголик, шизофреник, трудовая книжка раздута от бесчисленных перемен мест работы. И в то же время — поэт, философ, интереснейший собеседник, «политпротестант», все дети от общения с ним в восторге.

Вникать в психологию заключённых мне приходилось в силу обстоятельств. Я неоднократно ездила на поселение, дружба с бывшими арестантами продолжалась в Перми и Вологде. Горько констатировать: ни у одного из них не сложилась счастливо судьба на воле, хотя нарушений закона они больше не допускали. Многолетнее обесчеловечивание накладывало отпечаток. Миша мне говорил:

— Никому не посоветую выходить замуж за наших. Среди них нет того, кто способен составить семейное счастье.

Вот такая жёсткая оценка.

(Моя пермская подруга была замужем за Мишиным другом по имени Лёха-Алексей. Когда-то он был осуждён за воровство. Ещё в лагере дал себе зарок проститься с пороком и выполнил его в течение своей недлинной жизни (погиб от алкоголизма). Но мужем он был никаким. В течение многих лет отчёянный от понятий семьи, так и остался где-то между зоной и мнимой свободой.)

Я спрашивала:

— Миша, а ты?
— Я нетипичный.

В отличие от многих других, он был способен к самосовершенствованию, к диалектическому мышлению.

— Мишель, — растерянно говорил ему Лёха, — ты же только вчера говорил одно, а сегодня другое. Ты где настоящий?

(Лёха смотрел на Мишу снизу вверх. Он любил друга и знал наизусть его стихи, был готов преданно следовать за ним куда угодно, но не успевал «поворачивать». Лёха по природе был догматиком.)

— И вчера, и сегодня, — отвечал Миша. — Я ищу.

(...Прочитывая рецензии под стихами мужа на сайте «Стихи.Ру», я время от времени встречала реплики: «Михаил Николаевич, а почему вы всё время врёте? Вы где настоящий?» — и тут же вспоминала Лёху.)

Но главное, что спасало Мишу от обычной судьбы освобождённого после столь длительного срока заключения — стихи. Еще в Перми я поняла, что у него бывает только два состояния. Первое — Миша трудоустроен, получает какие-то деньги, но я их практически не вижу, потому что они всё равно пропиваются. И второе — Миша в очередной раз уволился с работы, устроился на диване в маленькой комнате, курит и пишет. Трезвый варит борщ и поёт под гитару, прекрасный отец. Естественно, что я постепенно приходила к выводу: пусть лучше пишет. Но тут возникали мои родственники:

— Как ты можешь терпеть тунеядца? При двух детях — и не работает!
— Он работает, — отвечала я. — Даже больше, чем я. Пишет стихи.
— Да разве это работа? Он ничего за них не получает!
— Он в этом не виноват. Откуда вы взяли, что у нас человек получает по труду?

Отношения с родственниками шли на разрыв... По-своему «мудро» рассуждала подруга:

— К мужу надо относиться как к столу. Вот он стоит посреди комнаты... если не очень мешает, ну и пусть стоит. Тебе от него ничего не надо, но авось пригодится. Выбросить всегда успеешь.

Я же знала, что без меня, без детей, к которым Миша очень привязан, он погибнет, сопьётся, и я первая этого себе не прощу.

Конечно же, Миша мучился унижением — тем, что нет настоящего заработка, не может содержать семью. Тем важнее был для него первый приличный гонорар за книгу. Он внутренне расправился. А это сказалось на всём.

* * *

Над белой бездной бытия —
Глаза, глаза...
Живых и бывших.
Читаю ли,
Молюсь ли я:
Прости, земля,
Меня убивших.
Кипит снегами полынья,
Бьёт по лицу, по синей коже —
Стоит над тундрой
Тень моя,
На сорок лет
Меня моложе.

* * *

Услышь своих,
Россия, не отпетых,
Кто не дополз, упал, не додышал.
У демагога — чистая анкета.
Моя — в грязи истории душа.
За всех послушай исповедь мою.
Чуть гарью потянуло —
Мы в строю:
В лесах, в забоях,
Всем напастям вровень
Твои, земля, изгойные, встают,
Чтоб биться до последней капли крови.
Гонимо ль, стыло, голодно ли, минно —
Там мы, уродцы, голытьба, шпана.
К отвергнутым
Закон не шёл с повинной.
То бьёт нас ужас тыла, то война.
Кто чист — в легенды.

Мы — в глухие были.
Все стройки коммунизма —
Наш дебют.
Нацисты не дожгли и не добили —
Простой расчёт:
Свои своих добьют.
Пустое —
Запоздало разбираться,
Умершее, безмолвное будить.
Нас не было,
Обугленного братства.
Нас не было.
Победный свет, гряди!
Ликуй, народ:
«Чужой земли ни пяди!»
А мы под марши
Завершим свой круг.
Пусть никогда
Не вспоминают дяди,
Как нам ломали
Наказанья ради
Со смаком
О колено
Кисти рук.
Будь проклят
Век, родители и мы,
Наручники, безумие тюрьмы:
Садистские дознания в подвале,
Где не было мучениям конца,
Где к милости напрасной не взывали,
Под сапогами лопаясь, сердца.
В глухи лесной или на Зуб-горе
В барачные оконца лагерей
Бьёт ханавей¹.
Хоронит ханавей
Твоих, земля,
Увечных сыновей.

ТРАССА

Бейте, ходики жизни напрасной,
Воскрешайте мой голос и взгляд,
Чтоб в багровом закате
Над Трассой
Мог я вспомнить,
Как гуси летят...
Небо в сине-свинцовой полуде.
Отплясал артбуран, отплясал.

¹ Состояние обреченности (из лексикона заключённых северных лагерей).

И летят через майский полудень
С поля боя
Надежд голоса:
«Брат-цы, брат-цы...»
Рукав опустелый
Мнёт солдат —
Нет другой, про запас?
«Пей, славяне, за правое дело,
Пей, душ-ша мир-ровая, за нас!»
Мировой океан одиночек
Пил-бурлил у черты роковой.
И слезу утирал пулемётчик
Госпитальный пустым рукавом.
Смех. Объятия. Слёзы.
Всё было...
Боячё, что с пути сорвалось,
На распутьях глубинного тыла
Принимала земля, как отброс.
Возвращались солдаты степенно
В оглушающую тишину.
Безотцовщины
Серою пеной
За волной поднимало волну.
Стоп! Замерзни, волна,
До предела
Дай осмыслить:
Сиротство и тиф,
Кто нас в детстве
Преступными делал,
В мясорубку одних запустив?
Перед кем или в чём мы повинны?
Изначально понять помоги:
Кто бросал нас
Под траки, под мины,
Самосудчикам под сапоги?
Извращённое бойнею детство,
Ты не знал, что близок твой час,
Будешь в зеркало мира глядеться,
Катастрофой страны отразясь.
Помню наш пацанячий шалман,
И его —
Пусть меня не осудят:
С виду Пришвин,
Но дьявол по сути.
И слова —
Ядовитый туман:
«Навались, безотцовщина, ешь!
Можно выпить за батьку, за деда,
За меня — подполковника СМЕРШ,
И за нашу, конечно, Победу.
Жуйте, жмурики, дело не в хлебе.

И мозги вам мутить не хочу:
Жаль мне вас,
Голодрань и отрепье,
Но Закон избавляет от чувств.
Зря мы, что ли, вскопытили мили
Под стальным и свинцовым дождём?
Немчуре хребтовину сломили,
А на вас-то Управу найдем.
Наша — слава, бесславие — ваше.
Воедино не вяжется нить:
Каждый должен хлебать свою кашу.
Что вы можете? Грабить да бить.
Свой, не свой, на дороге не стой...
Надвигается долгий ваш вечер:
Восходить вам
На брег на крутой
Под набат обвинительной речи».
Ясновидца, пророка, урода
Рокотал,
Тиком корчился рот:
«К-к-кто-то до-олжен же
Быть вне народа,
А иначе — ур-родец народ?
И не надо пощады просить.
Гнить вам, дохнуть,
В отвалах пылиться,
Греть тщедушием дали Руси,
Скрыв в метелях цинготные лица.
Всё для вас:
Воркута и Тагил,
Через степи —
Каналы И. Сталина.
Сколько ваших дурацких могил
Будет в Тундре Великой оставлено!»
Как в узде ты, Россия, в системе.
Из булата, звено ко звену,
Тянет цепь твоё горькое семя,
На поглядки скликая страну.
Дуй, народ,
Кто — на казнь,
Кто — на праздник,
Леший во поле — наш манифест,
Хватит-хватит отъявленной мрази,
Отдалённых и каторжных мест.
Сашки, Мишки, Иваны и Стеньки...
Глянь в глаза, отвечать не проси,
Вот она — хошь в цари,
Хочешь к стенке —
Кровеносная бездна Руси.
Мать-землица, я знаньем изранен.
Нету края у пропасти. Нет.

С боевыми шагал номерами,
С номерами — на тощей спине,
В «светлый путь», по погибели серой,
А на две стороны — хоры вьюг:
Обречённые думы — на север.
Отвлечённые мысли — на юг.
Замерзая в дороге, сгорая,
Добрались мы до всех полюсов,
Рекордисты Чукотского края,
Коногоны Печорских лесов.
Гуси чёрные, где же вы?
Где вы?
Обломали вам крылья-бока...
Предрекал
Пустозерский мятежник,
Что сгорит наша жизнь в кабаках.
О великий бунтующий Отче,
Я несу в себе дух твой и прах.
И душа не желает молча
На своих отплясать
На кострах
Мракобесия.
Лавочки-печки!
Вот и жаримся мы, что досель
Ты, свобода,
В железной уздечке
Крутишь смертным надежд карусель.
Не одно отцветёт бабье лето,
Прежде чем нас, живых, отклянут,
Кто придёт после госпятилеток,
Испытав просвинцованный кнут,
Из-за «речки», Ухты или Томска...
Нас приветят:
«Пой, ласточка, пой».
Это мы явим к жизни потомство,
Что уйдёт во вселенский запой.
Знала б женщина, мать и жена,
Что родится
На выжженном месте?!

На безлюбье любовь начинать —
Порождать неизбежность возвездья.
В тёмном поле —
Жизнь в трауре белом.
И хочу закричать: «Не моя!...»
Но — моя. И одна... Отлетела
И обуглила сердца края.
Да. Всё так. Путь безумен. Огромен.
Но и мы
В своих клятых делах
Деспотию крушили,
Что в доме,

Здесь дышать нам
И жить не дала.
Всех распял он,
Убийца, ублюдок.
Уж не спутаю
Свет с темнотой.
Уж не слышу железных побудок.
Уж не рявкнут вдогонку мне:
«Стой!»
Только память порой,
Как граната,
Саданёт и поднимет года...
Все, кто грел Магадан и Анадырь,
Уходил, пропадая во льдах,
Все, кто полз по полярному снегу,
В безысходности
Шёл на рывки,
Кто убит при попытке к побегу —
Все вы в сердце моём, мужики!
И былой СВЭ², и уродина —
За гонимых, за проклятых нас
Я приполз
В тебя веровать, Родина,
Надсадив сухожилья о наст.

1989 г.

ШАГ ВТОРОЙ

Обогащённый общением с Е. Ш. Галимовой, почувствовавший моральное право рассстаться, хотя бы временно, с необходимостью ежедневно отрабатывать по восемь часов на производстве, Михаил садится за пишущую машинку и приступает к воплощению того, о чём заговорил ещё в лагере:

Есть в душе моей такая рана,
что когда-то полыхнёт огнём...

Это и сейчас практически ещё не освоенный пласт. Проникнуться во всей полноте темой может только тот, кто пережил. Прошедших через всё это и сумевших не загинуть на этапе, не спиться, не вернуться назад в преступный мир, не выброситься на воле из окна — мало. Ещё меньше таких, кто сумел-таки обойти эти загородки и... обрести голос, получить образование. Наконец — иметь талант!

Но даже уметь сказать — мало. Нужно ещё быть услышанным, ощутить воспринимающую тебя аудиторию. Ну, хотя бы немножко, чтобы уж не совсем в обитой подушками комнате звучала пропа песни. Для массовой аудитории посып: «Все люди — братья» — это же... теоретически. И чем человек интеллигентнее, тем труднее сделать это искренне!

² Социально вредный элемент.

Я заметила это по общению на «Стихах.Ру». Люди готовы проникнуться болью ветерана Великой Отечественной войны:

Но дымится земля под ногами
Десять лет,
Двадцать лет,
Тридцать лет,

но их раздражает:

Стоит над тундрой тень моя,
На сорок лет меня моложе.

— Сколько же можно помнить зло, ковыряя старые раны и повторять одни и те же круги ада? — говорит критик.

— О другом скажут другие, — отвечает поэт. — У меня не отболело.

— А может, приподняться над всей этой грязью? Подумать о душе? Дело чести — сохранить её чистой.

— У меня не чистая, — говорит поэт и, подумав, добавляет: — В грязи истории.

— При чём тут история? Она всегда не подарок. Вспомним Древний Рим, ку-клукс-клан или режим Пол-Пота... Да мало ли примеров. Лучше обернись на себя.

— «От себя голова поседела».

— Чем же гордиться?

— Хочу, чтоб «после нас осталось две капли боли, но не море лжи...»

Есть психологический барьер: невозможность применить заповеди Христа по отношению к тому, кого по воспитанию и общественной формации считаешь намного ниже себя. Мы с Мишой не встретили практически ни одного воспоминания политзаключённых сталинских лагерей, где не было бы сказано нехороших слов в адрес уголовных. А ведь и те, и другие были порождением одной тоталитарной системы и вместе от неё страдали. В определённой степени — братья по несчастью, как в картинке, где изображение зависит от угла падающих лучей. Александр Солженицын тоже смотрел на уголовный мир сверху вниз. Не сомневаюсь, у него были к тому веские причины. И всё же, всё же, всё же...

А поэт и критик продолжают свой бесконечный спор.

— Покайтесь перед нами, убийцы наши. Мы вам всё простим, — говорит поэт.

— Кому каяться? И перед кем? Никого нет. Все умерли. Даже страны нет.

— Перед детьми войны.

— Но уже давно изданы повести Анатолия Приставкина, Виктора Астафьева. Тебя вон печатают. Мало кто читает, но ведь рот не затыкают. Это и есть покаяние. Даже фильм с таким названием вышел. Войны давно нет.

— Война продолжается. Множатся ряды малолетних преступников, при царском режиме такого не было. Тюрьмы переполнены.

— Тоскуешь по царизму?

— Да нет! «Белое и красное крыло гибельной метелью замело».

— И что же ты предлагаешь?

— Не дуди, полководец, в дуду,
Накликая другому беду.
Позабудешь —
Погостная птица
На гнездовые к тебе возвратится...

Виляет история, делает такие повороты, что и в страшном сне не приснится. Вчерашний страдалец за народ — по сегодняшним меркам террорист. То Ленин и партия — «славься на все времена», теперь царя причислили к святым. А у поэта:

К небу, в землю
Землистые лица.
Церковь в кружеве снежном —
Как чёлн. Вздёты руки:
Крушить ли, молиться?
Но — кого?
Но — кому?
Но — о чём?

С годами он всё чаще слышит голоса, на которые не может не откликаться:

После боёв,
Святых и правых,
Молитву позднюю творю.
Следы сапог моих кровавых
Ведут —
Носками к алтарю...

— Ну и мастер Вы, Михаил Николаевич, — говорят читатели. — Какого лирического героя себе выдумали!

Стихи Михаила Сопина проникнуты сочувствием ко всем униженным и осуждённым обществом, независимо от статей в приговорах. Он не может иначе, ведь это с ними он делил пайку и нары там, где не принято было спрашивать: «За что сидишь?» Пришли по разным дорожкам — а теперь судьба общая. И охрана, кстати, на той же дорожке, одним миром мазана (это хорошо показано С. Довлатовым в романе «Зона»). Администраторы даже больше к той стезе прикованы невозможностью сделать карьеру где-то ещё, потому что этот пласт в обществе — низший.

...На станции Чепецк, когда Михаил уже со справкой об освобождении ожидал транспорт, его пригласил в гости «гражданин начальник» — капитан Виктор Тарасович Лепко. Достал бутылку, стаканы.

— Тебе хорошо, — говорил капитан, плача, в расстёгнутом мундире. — Идёшь на волю. Можешь стать дворником, сторожем... кем угодно. Обращаться с нормальными людьми и никогда сюда не возвращаться. А мне некуда освобождаться, у меня не хватит сил начать новую жизнь. Я ничего не хочу и не могу...

Из далей харьковские клёны
 Сквозь сумрак полувековой:
 «Вставай, проклятьем заклеймённый!» —
 Шумят над белой головой.
 Родимые,
 Всё так непросто:
 В едином с вами
 Я строю
 Встаю,
 Забытый на допросах,
 Над бездной лагерной встаю.
 Уходим мы...
 Прощаться скоро
 Придётся,
 Беженцы войны,
 Сироты красного террора —
 Вы все в душе моей равны!

МУНДИР И СУТЬ

Плыл едкий запах первых дней войны.
 Орал Мундир
 Тяжёлой силы речи.
 Он главным был.
 И представлял в дни сечи
 Парад, декор, двойное дно страны.
 Витийствовал,
 Кровавый глаз кося,
 Светился, как фонарь над преисподней:
 «Без нас — без нас —
 Грядущему нельзя!
 Без прр-ровокаций!
 Дом горит сегодня!»
 Да. Верно. Дом отеческий горел,
 Как и потом —
 И двадцать лет, и тридцать...
 И вышло так,
 Что взрослой детворе,
 Уже клеймённой
 На родном дворе,
 Развалинами душ не исцелиться.
 Мой крестный путь —
 В пожар из-под огня.
 Без этого нельзя понять меня.
 Сорок второй. Нас жгут со скарбом всем.
 Горят косички, ленточки матросок.
 И по живым свинцовый хлещет посох —

Страшней приказа 227³.
И тут я понял: если не осилю —
Конец.
Мундир — пустышка. Лжив. Дыряв.
Пополз... за полумёртвую Россию
Держась руками в жёлтых волдырях,
По чьей-то крови,
По своей скользя.
И с той землёй
Мы больше, чем друзья...
Любовь, Отчизна,
Вождь — пустые звуки
Для тех, кто чтут Мундир или Указ.
Я Родину свою
Вблизи, вдали
Найду без вас
Душою, что болит —
Как у солдата отнятые руки.
В окопы — с ней,
В забои и застенки.
Жрал грунт окопный.
Полыхал и зяб.
Скипелись мы —
Как кладка древней стенки:
И, подорвав,
Нас разделить нельзя.

* * *

Нет в наших голосах
Идиллий.
В эпоху пряника-кнута
Под рельс звенящий
Мы ходили,
Считая вёрсты и лета,
От севера и до востока
Ни звёзд, ни бирок —
Кто таков?..
По всей дуге судьбы жестокой
Без нас не сыщешь рудников.
Ангарск ли, Куйбышев, Каховка,
Волго-Донская ли вода,
По фотокоровской сноровке —
Другие лица и года.
Мы шли и шли без соцзащиты
Сыны войны, войны иной.

³ Приказ И. Сталина от 28.06.42, по которому командиры (политработники) рот, батальонов, полков, дивизий, отступившие с боевых позиций без приказа сверху, объявлялись предателями Родины. На основании этого приказа в армии были сформированы штрафные роты и батальоны, которых бросали в наступление под вражеский огонь.

Державным страхом рот зашитый
Мычал проклятьем и виной.
В Усолье мрачном
И у Лены
Под пулемётный говор вьюг
Нам правда
Разрывала вены,
Творя
Историю
Свою.

КОРАБЛЬ

Все ипостаси
Гибельного рока —
Мои:
Пацан-солдат,
Бездомник, тать,
По каторжным и беженским дорогам
Пройдя, я мог на Родину роптать.
Обрубленные руки
Что напишут?
Что мёртвый
Докричит издалека?
Работай, медсанбатная строка,
Избавленная жизнью от излишеств.
Прильну к земле —
Мольба со всех сторон:
«Склонись
Над красным
И над тёмным полем,
Оставь себе
В казённике патрон
И в дикость масс
Кричи о мёртвых нас,
Пока храпит
Стреноженная воля».
Исполню всё, что требуете вы,
Гулаговцы,
Бездомники,
Солдаты.
Как пуля в пулью, —
С вами!
Дата в дату —
Прошёл по рубежам по болевым.
Все вами недожитые лета
В груди моей не для другого раза.
Я рядом с вами шёл, не по пятам,
По зову сердца шёл,
Не по приказу.

Как колос из земли —
Я весь из вас!
А лира, что ж,
Поэт — он ближе к Стеньке.
Есть те,
Что не уступят мест у касс,
А я своё не уступлю — у стенки.
Так много мыслей,
И одна другой
Полыннее.
Веками так нам пето, —
Как с бубенцом,
Что бьётся под дугой,
Мы свыклись с тем,
Что царь
Убил
Поэта...
Мы в шорах,
Братья,
Милые, мы в шорах:
От кривды,
Не от правды мы седы,
Что бойню порождает лютый ворог,
А грешных судят
Правые суды.
Из века в век кочующая мразь
Бьёт чистоту,
Уничтожая нравы.
Девиз дельцов:
Дыши — как в дождик травы.
Иначе — пуля.
Выше не вылазь.
И вот уж мне определяют место:
«Романтизируй. Воспевай прогресс.
Нам о тебе
До донца всё известно.
Мы над тобой цари,
Твой суд и крест».
...Забыв одно,
Что в самый трудный час,
Припав к погостам тайным,
К обелискам,
Гулаговцы,
Солдаты,
Лиши на вас
Равняю путь
Далёкий свой и близкий.
Корабль моей судьбы
Через ненастья
Идёт ещё.
И, дерзостью дыша,

Я понял:
Где идея выше власти —
Пригвождена
К распятию
Душа.
Вот почему
В года большой неволи
Хрипящее ронял:
«Ку-ка-ре-ку!
Реку
Грядущую
Свободу-долю!
Ко-пе-еч-ку
По-дай-те
Ду-ра-ку...»
Хрипел —
В карьерный известняк,
Сдыхал,
Со всей страною
Надрываясь вместе.
Но зов мой
На-гора не долетал
Сквозь горизонт
Рудничного созвездья.

ШАГ ТРЕТИЙ

Мне всегда нравились стихи Варлама Шаламова — даже больше, чем рассказы. Подобно прозревающему слепому, он открывает для себя в стихах мир. Сначала на ощупь... Потом вдруг видит на оттаявшей скале цветок, учится распознавать запахи, краски. И вот уже для нас с такой же силой звучит симфония жизни. В стихах Шаламов именно поэт. А в рассказах — аналитик.

Михаил Сопин прозы вообще не писал, поэт и аналитик в нём сливаются, а с годами аналитик стал преобладать.

Есть ещё один очень важный момент: Сопин пишет на несколько десятилетий позже. Колымский страдалец исторически не мог видеть того, что открылось последующему поколению. С тех пор общественное сознание ушло далеко вперёд. Уже издан «Архипелаг ГУЛАГ» А. Солженицына, раскрыты архивы НКВД...

В конце восьмидесятых двадцатого века в полный голос о лагерях ещё не говорили, и Московское издательство стихи Сопина на эту тему отмело. А он входит в неё всё глубже. Поначалу это ещё не раскрытие темы — скорее её предчувствие в знакомом песенно-образном строе:

На холме три тополя, три ракиты...
Без весла, без шеста я плыву на плоту...

Но чем круче сворачивает он с освоенной дороги, тем труднее не увязнуть в трясине. Стихи теряют прозрачность, становятся громоздкими, тяжеловесными, перегружены «непоэтичными» подробностями.

Я уже отмечала удивительную способность Михаила вживаться в прошлое. По намёку он способен вновь увидеть пережитое, как на фотографии. Однажды по запаху огуречной травы в нашем огороде восстановил полностью картину детства, описал, где эта трава росла, как её готовили для еды... Вот он берёт старое, бросовое, казалось бы, стихотворение, находит удачную строку — по ней, как по проводнику, возвращается в полузаытое состояние... Но тогда ещё не было мастерства. А теперь — надо же! — получается свежо и интересно.

Первые годы после освобождения — психологическое, даже физиологическое неприятие прикосновения к лагерной теме. Чтобы описать правдиво состояние заключённого, надо было снова влезать в его шкуру. А организм отторгал: невозможно жить и дышать так, как «это было там». Но незримое присутствие этой «шкуры» всё равно постоянно ощущалось:

И боль моя становится не болью,
А частью жизни, сросшейся со мной.

В то же время возвращение к тому состоянию сулило возможность освободиться, скинуть с себя эту шкуру. Но она не сползала, приходилось сдирать вместе с кожей:

А на тёмном стекле
Обнажённо,
До резкого света:
Ирреальная явь,
Тёмно-красные слёзы мои.

Подстёгивало осознание, что он всё же должен сказать за тех, кто «не дополз, упал, не додышал»: «Кто не жрал наркомовского хлеба, не сможет передать его вкус и запах. Говорить надо сейчас. Можно и потом, но потом будет другое».

...Каждый вечер Миша приносит мне новые пачки стихов. Я сначала прочитываю добросовестно, но в какой-то момент останавливаюсь и дальше не хочу. Возникает потребность поберечь себя и читателя. Предлагаю сокращения, указываю на непонятность для аудитории некоторых строф:

— За разъяснениями надо обращаться в специальные справочники!
Миша молча сгребает листы:

— Дети разберутся!

Я понимаю, что сейчас должна проявить внимание и терпение, но...
иду на кухню и принимаюсь за приготовление ужина.

Спорим из-за уголовного жаргона, который я требую убрать — либо, в крайнем случае, делать сноски. Сходимся на компромиссах. Теме ещё нужно вылежаться, отстояться, на это потребуются годы.

В поисках энергетики стиха поэт ищет новые выразительные средства, появляются словообразования типа: «слепо-зряще», «вожделюбы», «всезапойные катастрофы», «со зрачками-зонтами», «крестико-звёзды»...

(Сейчас искала это словосочетание и прочла в стихотворении конца 80-х: «На лице моём синем-пресинем СТАВЯТ крестико-звёзды, Россия». Заметьте, тогда поэт ещё выводит Россию из-под удара, обращается к ней как бы жалуясь. Пока ещё она — высшая инстанция: кто-то ставит крестико-

звёзды, а она, Россия, должна рассудить. Через несколько лет он поправит: «СТАВИТ крестико-звёзды РОССИЯ», без запятой в середине строки.)

Пока для него самое страшное — «слепо-зряще и жутко реял идол вождя», «садистские дознания в подвалах» и смак, с которым «дяди» из НКВД ломали подросткам кисти рук. Пройдёт немало времени, прежде чем поэт придёт к выводу:

«Не в сталинщине только дело —
народный зверь сжирал своё нутро».

Стихи лагерной тематики впервые были включены в сборник «Смещение», изданный в Северо-Западном книжном издательстве в 1991 году. Он увидел свет почти одновременно со сборником «Судьбы моей поле». Такой дружной публикации во многом способствовала потеря нашей семьёй старшего сына Глеба — как видно, автора пожалели. «Смещение» посвящено Глебу, и подросток на титульном листе (в графическом изображении художника А. Савина) на него похож.

После выхода этих книг Михаил Сопин был принят в Союз писателей СССР, который через пару месяцев был преобразован в Союз писателей России. Его членом Михаил оставался до конца своих дней.

Иронией судьбы сборник стихов Сопина в Архангельском книжном издательстве оказался для вологодских авторов едва ли не последним. Издательства разделились. А у Миши появилась присказка:

— Стоит мне куда-то вступить, всё тут же разваливается. Издал книгу — не стало издательства. Вступил в Союз писателей — развалился Союз. Только-только начал превращаться в полноправного гражданина СССР — рухнула страна.

* * *

На холме — три тополя,
Три ракиты.
Три тропинки во поле
Перевиты.
Первой — шёл я в ночь свою,
Второй — в счастье.
Третью — в землю отчую
Возвращаться.
В том и дело, Родина,
В том и дело:
Каждый думал — пройдено,
Значит, в дело.
Каждый верил — сказано,
Значит, к месту!
Отслужили слаженно
Злую мессу
Не царю небесному
Со владыкой,
А земному деспоту —
Дичи дикой.

Вместе славя, хлопали —
Врозвь убиты.
На холме три тополя,
Три ракиты.

* * *

Со слепыми зрачками,
С обрубками крыл
Я по красному-красному полю проплыл.
Меж Цимлой и Солёным
Глотал плывуны,
Опираясь культиами о стены страны.
Всё здесь шло по модели,
Что преступный народ
Сам себя раскуделит,
Перервёт, перебьёт:
Больше дел, меньше гнили —
Сей лишь распри и месть.
И тимуровцев били,
И квакинцев здесь.
«МАЗ» рванёт в две сторонки —
Вскрик хлестнёт по волне.
Никакой похоронки
В безымянной войне.
Со зрачками-зонтами,
С обрубками крыл
Я по красному-красному воплю
Проплыл.
А в грозу, в промежутках,
Меж обвалов дождя
Слепо-зряче
И жутко
Реял
Идол вождя.

* * *

Вой волчьих чучел.
Льдинка песни птичьей.
Холст — котелок на неживом костре.
Ни сон, ни явь.
Глухое безразличье
У брата к брату,
У сестры к сестре.
А я смеюсь,
Смеюсь, от страха ёжась,
Безумию ума смертельно рад,
Что возглавляю скопище ничтожеств,
Позвякивая ужасом наград.

Собою не владея,
Всем владею!
Карательною силой войсковой
Я наделён, олигофрен идеи,
Слюдой зрачков, улыбкой восковой.
Под подбородком у меня свеча.
И корчусь я
Настенной тенью зыбкой.
И по стене сползает массой липкой
Культурная гrimаса палача.
Куда мы шли? Куда нас завели?
Заплакала... Жива душа-калека!
Шаг первый мой —
Земного Человека.
Последний шаг —
Ничтожества земли.

* * *

Согреваюсь опять я
У белого стылого полымя,
Правым боком припав
К продувному
Судьбы пустырю.
И поёт мне метелица
Голосом дикого голубя.
И с улыбкой замёрзшей —
Не помню уж сколько,
Стою.
Через снежное поле
Теплее ловлю колыбельную.
И хочу, чтоб так длилось,
И ветру шепчу:
«Я дойду...»
И зелёной звездою
Снежинка
В ладонь мою белую
Опустилась, как с ёлки,
В опухшем голодном году.

* * *

Вот так и было. Тягомотно. Тошно.
Таков мой путь к Парнасу,
Вот таков:
Цинготный. Голодраный. Беспортошный.
Сквозь золотую россыпь
Тумаков.
Не снится мне:

Без роздыха, без брода
Барахтаюсь,
Отчизна, наяву.
Клеймённый сын
Казнённого народа
Жив!
С кляпом в горле
Жив. Ещё живу.

* * *

...Не добит, не дострелян,
Железом калёным не выжжен,
И на серость плюю — как плевал,
Но бескровно, смеясь.
И той частью, где сердце,
К Отчизне — уж некуда ближе.
Жизнью битые, гнутые —
Все мы страны сыновья.
Нам шаманили в двадцать
И в сорок:
«Надейтесь.
Однажды...»
Ни какого однажды.
Мы мчимся, подобно лучу!
Поддержи меня, Родина,
Не лишай меня мужества жажды:
Дострадать, досказать,
Догореть без остатка хочу.
И другим я не стану.
Не желаю средь гнуси и лени
Бить локтями в лицо
И в восторге вопить:
«Все равны!»
Вон они рвутся в зал
Для духовного всеоскопленья.
Раздувается зал,
Достигая масштабов страны.
Мне б себя отыскать.
Отыскать бы себя мне... Поверьте!
От глупцов-погонял
Я, как рикша, под мыслью влачусь:
Не в чужой похвале
Наша сущность и наше бессмертье —
В нас, в живых,
В нас самих,
В естестве наших мыслей и чувств.
Я кричу в летаргию эпохи
И в оцепенелость округи:
Мы — родня на Земле.

И Земля нам на время дана.
На Голгофу идущих
Беру я душой на поруки.
Жизнь — одна.
И Любовь.
Кровь — одна.
И Свобода — одна.
В этом трепетном мире,
По сути своей не жестоком,
Осеняю признаньем
Травинки, пичужек, зверьё.
Всех живущих прошу,
На все три стороны от Востока:
Заштите Любовь!
Иль распните меня за неё.
Не добит, не дострелян,
Железом калёным не выжжен,
И на серость плюю —
Как плевал.
Но бескровно, смеясь.
И той частью, где сердце,
К Отчизне — уж некуда ближе.
Жизнью битые, гнутые —
Все мы страны сыновья.
Океаны молчанья
Мчат безмолвия долгого волны.
Для того и живу,
Сквозь глумления чащу дерусь,
Что без этих вот строчек
История будет неполной —
Как без «Мёртвого дома»,
Как без Гоголя странного Русь...
Пятилеток снега,
Как странички тетрадей в косую,
Мрак листает над тундрой,
Вглядитесь, взглядитесь вокруг —
Там вон, дети войны,
Сиротище страны голосует
За «счастливое детство»
Культями обрубленных рук.

(Из поэмы «Агония триумфа», 1993 г.,
см. стр. 285 настоящего издания)

Судьбы моей поле

После выхода сборника «Предвестный свет» Миша подсчитал, что если разделить гонорар на 12 месяцев, то примерно с год, снизив собственные потребности до минимума, он сможет поддерживать семью без ежедневной отработки на фабрике. Уволился и перешёл на работу, о которой давно мечтал — грузчиком в Вологодский филиал Северо-Западного книжного издательства.

Небольшая зарплата грузчика, плюс пай от гонорара... Далее возможна книжка в Москве, и опять как-нибудь перекантуемся. Однако с Москвой оказалось не просто. Конечно, мы мечтали о публикациях в гремевших тогда журналах «Новый мир», «Знамя», «Дружба народов»... Помню удивительный совет знатоков: «Стихи должны быть отпечатаны на хорошей бумаге и без поправок. Иначе и рассматривать не станут».

При всей курьёзности такого требования в нём есть рациональное зерно. Это особенно стало заметно в девяностые годы, когда печатные издания наводнили грамматические и стилистические ошибки, совершенно исчезла редактура, а уж как по радио и телевидению стали выражаться... Полное неуважение к русскому языку.

Ну, достать хорошую бумагу и с нескольких попыток отпечатать текст согласно требованиям оказалось не самым сложным. Однако наши пухлые бандероли продолжали возвращаться с завидной настойчивостью. Хотя и качество стихов вроде бы не хуже печатаемых, и темы приемлемы...

Однажды Кожинов сказал Мише:

— Твоя судьба — журнал «Наш современник» и издательство «Современник». В другие лучше не суйся.

(Интересно, что журнал «Молодая гвардия», который для многих считался созвучным «Нашему современному», не назывался никогда.)

Это можно было понимать так, что между журналами шла внутренняя распря, и уже своим пребыванием в Вологде, встав под «кожиновское крыло», мы примкнули к определённому лагерю. Ни за что не напечатают у противников, и наоборот.

Творческой личности раздел вообще чужд. Но для Михаила это имело реальные последствия: в Вологде он оказался в определённой степени «своим среди чужих, чужим среди своих».

В восьмидесятые годы процесс ещё не зашел глубоко, значительных авторов печатали везде, и широкая публика (в том числе мы) литератур-



ного политианства не понимала. Как не вспомнить, что сатирический роман В. Астафьева «Печальный детектив» был впервые опубликован в «Нашем современнике»! Рядом с публикацией Михаила в этом журнале в 1990 году — «Красное колесо» А. Солженицына. Почётное соседство!

Издательство «Современник» приняло рукопись к рассмотрению. Несмотря на благожелательное отношение, работа не принесла Михаилу удовлетворения. Он в то время уже осваивал новые темы, рвался с ними к читателю, а его возвращали к старому. В конце концов сказали: «Будем делать на основе «Предвестного света», в расширенном варианте».

Это была обычная столичная практика — 50 процентов опубликованного (проверенного), 50 — нового. Сборник «Судьбы моей поле» (1991 г.) Миша долгое время недолюбливал и считал слабым, начиная с названия — хотя, по-моему, он не прав. Там много прекрасных стихов, а маленькая поэма «Лунным полем, тёмным бродом» — шедевр.

Хочу обратить внимание читателя на цвето-звуковую гамму стихов того периода. Она необычайно широкого диапазона. То автор идёт словно бы на ощупь («Ослепший лебедь», «...Душа что-то ищет неизрече...», «Пробежал по земле, заслоняясь маскировочной сетью от живой красоты...»), то широко раскрывает глаза и видит Россию с «багровым закатом в полынную степь». Распахивает окно «в спелый дождь» и вспоминает «тени дождей, отражённые в давнем окне». То же самое о звуках: от немого «Говоря, ты молчишь, и, смеясь, ты молчишь...» — до: «А я и сотой доли не сказал о том, что слышу, к полю припадая».

У нас в детстве была такая игра. Надо крепко-крепко зажмурить глаза и, когда уже привыкнешь к темноте, внезапно их открыть. Ярко, празднично вспыхивают словно бы обновлённые краски. Но — ненадолго. Потом опять привыкаешь к будничности.

Некоторые стихи интересны адресностью. Так, читая про «железобетонную эру», которая уходит, «от едких дождей, опустив капюшон на глаза», я вижу посёлок химиков Кислотный на Каме, над которым в семидесятые годы всегда стояло «оранжевое небо».

А тополёк из стихотворения «Протяни мне ладонь, тополёк» рос под окном в пермской квартире. Уходя в армию из Вологды, наш старший сын Глеб переписал в свою записную книжку это стихотворение: «Оно мне нравится, потому что я знаю этот тополёк».

В последний год жизни Михаил пересмотрел своё отношение к сборнику под влиянием читательской аудитории Интернета, которой оказалась близка эта интонация.

* * *

Я не знаю
Судьбы бесприданнее.
Но запахнет травою в укос!..
Ах, душа,
Не зови в поле раннее,
Где так нежно,
Так горько жилось.
Где-то было:
Певали по вечеру

О замёрзшем в степи ямщике,
И лошадкины губы доверчиво
На моей замирали щеке.
Всё пропало.
Вдруг рявкнули траками.
Рухнул храм.
Пала пыль по росе.
И пошла моя жизнь буераками,
Резко взяв стороной от шоссе.
Сколько лет было лютых и снежных!
Но едва лишь забытся «ку-ку» —
Пробуждается тихая нежность
Стебельком яровым на току.
Край полей,
Сторона аномалий,
Полюбил я печаль и вину —
Всё, что женщины вдруг понимали,
В полыньи моих глаз заглянув.
Что прошёл с той поры,
Что проехал...
Но с полей
Тишины и войны
Всё зовет меня
Чёрное эхо
В две,
Навек болевых, стороны.

* * *

И стал я немым обелиском
Над степью,
Где всё сожжено.
И плакал —
Из камня —
О близком,
О том, что вернуть не дано:
Где был
И жесток, и неласков,
И слышал,
Как, рвано дыша,
Кричала во мне несогласно,
К любви призываю, душа.

* * *

Когда мы родились,
У нашего царского ложа
Российская мать
Опалила нас совестью глаз,
Чтоб праведно жили!

Где лгали за славу —
Сытожим:
В витрину столетья,
На общий обзор,
Напоказ.
И слаше не надо,
И горестней этого плены.
Пройдёт наше время,
Покатится солнышко вниз.
Ещё покочуй, моя нежность,
В раскатах вселенной,
К ракитам закатным,
К морщинам полей прикоснись.

* * *

Знаю, в хмурые дни
Ты подходишь к окну.
Что скрывать —
Всем нам хмарь да окно.
Ты обманешь себя,
Я себя обману,
Но скажу:
«Всё забыто давно».
Говоря, ты молчишь.
И смеясь, ты молчишь.
Вряд ли только
В тревожной судьбе
Голосами дождей,
Лунным светом в ночи
Мы сумеем сказать о себе.
Даже в лучшие дни
Тишиной заперты:
Всё скрываем, молчим да таим.
И лицо, и слова, и улыбка —
Не ты!
Только слёзы у сердца — твои.
Может быть, с той поры
В нас осталось добро —
Задыхаться, страдая в тиши.
Мы с тобою —
Как старые письма на фронт...
Не пиши, что в груди,
Не пиши.

* * *

Чем дальше, тем выше
Дома —
Одиночества глыбы —

Распятое тело
Бетонные гвозди прожгли.
Всё меньше на свете
Живых родничков и улыбок,
Наследственных песен
И древностей русской земли.
Зачем тут гаданья?
Всмогтитесь, как в сумраке сером,
Плодя одиночек,
Стремится, не глядя назад,
Панельная морочь,
Железобетонная эра,
От едких дождей
Опустив капюшон на глаза.

* * *

Россия, Россия,
Приснись мне, как прежде,
С серебряной Ворсклой,
С костром на горе!
В судьбе моей осень.
Тускнеют надежды,
В которых так долго
Мог сердце я греть.
Зарядные выюги
В глаза парусили.
Прошу на прощанье,
Пока не ослеп,
С дождями степными
Приснись мне, Россия,
С багровым закатом
В полынную степь.
Ревёт, пролетая,
Метель над крестами,
Грядут мои дни.
Заметёт добела.
Любовь и печаль,
Я тебя не оставил!
Вся в памяти смертной —
Какой ты была.

* * *

Разбег и равнина!
Ответь,
Где предел тебе,
Воля?
В просторы врываюсь,

Года разметав по пути,
Мои табуны
В предзакатном пластаются поле.
Нет власти над ними —
Не смог обратить и пасти.
Вина ль моя в том,
Что прошел по декабрьской дороге,
Не мною придуманной,
С горьким названием —
Жизнь?
Прости меня, месяц,
Попутчик полей крутогорий,
За раннюю глупость,
Тропинку в степи укажи.
И лунно, и звёздно,
И свет из окошка у брода.
Прощально так помню —
Исхлёстанный волнами чёлн...
Стою над обрывом,
Улыбчиво плачу о чём-то:
О раннем,
О позднем,
Да мало ли, друг мой, о чём.

* * *

Пока живёшь, душа, люби —
Холмы в пути или равнина.
Ты не могла хранить обид,
И потому
Сама хранима.
Как травы юные свежи!
Как осени светла усталость!
Так мало остаётся жить.
Так мало
Выстрадать осталось.

* * *

Прошу тебя:
Не зажигай мне свет.
Я жил затем,
Чтоб в хмарь и в смуту,
Когда ни сил,
Ни воли нет,
Встать и зажечь огонь кому-то.

В семье единой

Год 1990 для нашей семьи — чёрный. Первого ноября мы потеряли нашего старшего сына Глеба. Младший сержант Глеб Михайлович Сопин погиб при исполнении служебных обязанностей в ракетных частях под Красноярском.

Это был талантливый юноша, любил людей и был полон страстного желания утвердить себя в мире. Оставил после себя художественно-литературное наследие. Его ранний уход был чудовищно несправедливым и ещё раз напоминал: мир — это стихия, которая бьёт, как торнадо: правых и виноватых, врагов и своих... Если бы я верила в Бога, в те дни восстала бы против него. Если Бог — это и есть природа, то обращаться (с пожеланием ли, просьбой...) можно только к себе — туда, где хоть чем-то в пределах видимости можешь распорядиться.

Но человек протягивает руки из своей слепоты разве что до поворота, и то в ясную погоду:

И гений, освещая только миг,
Предвестит тьму, неведомую прежде.
(Из стихотворения Михаила 1987 года)

Весной 1991 года могила Глеба оттаяла и требовала подсыпки. Мы с Мишой таскали землю вёдрами, и он в сердцах сказал:

— Здесь должен был лежать я, а не он.

Потом будет 12 лет попыток издать наследие Глеба, в конце концов подобие его завета: «Я вернусь! Я всё равно когда-нибудь вернусь!..» — исполнится. Книга «Четвёртое измерение, или приключения Красной Шестерёнки, «храброго» предводителя триунэсов» издана. Вот что пишет о ней поэт и издатель Эвелина Ракитская:

«Книга Глеба Сопина — это не просто результат трудов и материальных вложений семьи, желающей отдать должное памяти погибшего. Она является высокохудожественным, оригинальнейшим произведением (вернее, сборником произведений) очень популярного ныне жанра — комиксов для детей и подростков. Однако, в отличие от других книг этого жанра, «Четвёртое измерение...» — это РУССКИЕ комиксы, созданные в РУССКОЙ традиции, безо всякого влияния наводнивших наш книжный рынок и зачастую чуждых русскому читателю героев и тем. Несмотря на то, что основные персонажи Глеба живут на далёкой планете, они имеют РУССКИЕ



характеры, легко узнаваемы и вызывают бурю эмоций у читателя... Книга Глеба Сопина — этоrossыпи остроумия, кладезь доброты, она отличается прекрасным вкусом, с огромным интересом читается и рассматривается не только детьми, но и взрослыми».

А тогда, летом 1991 года, Миша написал стихотворение, посвящённое Глебу — «В семье единой».

Здесь всё не случайно — от традиционного названия до поставленной в конце точки. Звучит многоголосье. Отец и сын, мать отца и мать сына меняются местами, голоса то сливаются, то расходятся, как в церковном хорале; порой непонятно, от чьего имени обращение.

«Мне страшно: а вдруг я неволю живущих живым сострадать?...» — это отец.

«Я жалуюсь белому полю, чтоб голос мой слышала мать...» Мать отца или сына? Скорее сына, потому что далее следует: «Мне холодно, мама, я стыну... Мой голос звучит или нет?» Но это же и отец: «Россия, родимая, стыну! Метелит в буряне быльё». Это отец постоянно обращается к России, у него заметлена биография, а у сына она только начиналась. Но сын погиб на службе Родине, и его обращение к России тоже можно считать правомерным.

Потом сын уходит совсем, отец остается один:

«И в снежную тонет пустыню прощальное слово мое...»

Течёт мимо ненужное, чужое многолюдье. На других нет вины, ибо нужен только один — тот, кто никогда больше не откликнется. Последняя строчка ставит всё на свои места. Хорал пропал, и всё до ужаса стало ясным, как в снежный зимний день при ярком солнце, на которое смотреть нельзя — получишь ожог сетчатки:

«Убитому жалуюсь сыну на участь живого отца».

В СЕМЬЕ ЕДИНОЙ

Глебу Сопину

Мне страшно: а вдруг я неволю
Живущих живым сострадать?
Я жалуюсь
Белому полю,
Чтоб голос мой слышала мать:
«Мне холодно, мама,
Я стыну.
Мой голос звучит или нет?»
Торжественно. Людно. Пустынно.
Ни слова, ни звука в ответ.
Россия, родимая, стыну!
Метелит в буряне быльё.
И в снежную тонет пустыню
Прощальное

Слово моё.
Бессмысленно-медленно стыну.
И нет многолюдью конца.
Убитому
Жалуюсь
Сыну
На участь
Живого отца.

ТОПОЛЁК

Подари мне листок, тополёк,
Золотого оклада иконку.
Ты своею листвой поблёк.
Я своей облетаю тихонько.
Сердцем чувствую
Ласку и боль,
Но второе щедрей выдаётся.
Мы до грусти похожи с тобой,
Отражаясь в судьбе,
Как в колодце.
Я тебя понимаю, дружок,
До глубинных корней понимаю:
Сколько раз свою душу ожёг
О бураны
На подступах к маю!
В балагане для массовых сцен
Одиночкой пропел я во поле.
Был свободным
Меж карцерных стен
И невольником классовой воли.
Путь земной мой
Едва ли далёк.
Жизнь нас рубит,
Как яростный конник.
Протяни мне ладонь,
Тополёк,
Сквозь решётку
На мой подоконник.

*(Любимое стихотворение отца,
которое в 1989 году Глеб, уходя в армию,
переписал в записную книжку.)*

Без конвоя летят журавли...

В 1990 году в журнале «Наш современник» благодаря содействию В. В. Ко-
жинова появилась подборка стихов Михаила Сопина. Этот номер попал
в Америку. В городе Монтеррее его случайно купил писатель-эмигрант
Алексей Коротюков. Сел за пишущую машинку и напечатал:

«Вы первый русский поэт, к которому за последние десять с лишним
лет мне захотелось обратиться...»

Письмо пришло в адрес «Нашего современника», оттуда переслали в
Вологодское отделение Союза писателей, а те отдали нам.

Миша сказал:

— Уже только ради такого письма можно было жить и трудиться. Алексей
рассказывал о себе. Бывший московский киноактёр и киносценарист,
журналист, писатель. Уехал в Америку в 70-е годы. Причины выезда не
объяснял — впрочем, они прочитывались в его романе «Нелегко быть рус-
ским шпионом», первую часть которого Алексей нам подарил.

В романе — тема лживости, пронизывающей всё общество сверху до-
низу. Язва афганской войны. Слежка КГБ. Язык, стиль — всё замечательно.
Как хорошо этот роман читался бы, к примеру, в журнале «Новый мир»!
Какой «бомбай» мог бы оказаться, опубликованный вовремя! Увы, не слу-
чилось... Алексей Коротюков напишет свое последнее письмо к нам, так
и не узнанный в России, в убогой монтеррейской хибаре, где за стенкой
будет плакать соседский ребенок, а во дворе хлопать на ветру чужое мок-
рое бельё.

...А тогда завязалась тёплая переписка; к ней подключились и я, и Алё-
шина жена. Они присыпали нам фотографии с видами на океан, мы удивля-
лись качеству этой любительской цветной фотосъёмки. («Кодак» в России
был ещё не известен.)

Алексей рассказывал, что жизнь в Америке не такая уж простая. Русские
эмигранты трёх волн держатся друг от друга особняком. У семьи Коротю-
ковых больше друзей среди американцев,
чем среди русских. Ощущение ненужности,
одиночества. Русские писатели не котируются — американцам достаточно одного Солже-
ницина.

Разговор переключался на детей. Мы
рассказали о гибели Глеба. У Алексея и его
жены Ирины — своя боль, сын Тимоша. Ря-
дом — Голливуд, зараза наркомании...

Мы поделились печалью — невозможно
издать книгу Глеба. И тут Алексей сделал нам
роскошный подарок: прислал заверенные по
международным стандартам права на изда-



ние своего романа «Нелегко быть русским шпионом» сроком на три года (по замыслу, гонорар от публикации должен был получить Михаил и на него издать Глеба). Думается, у Алёши была тайная мысль: он хотел видеть опубликованным свой труд на Родине.

Мы приложили титанические усилия — не ради гонорара, ради Алёши. Я перепечатала роман на машинке, чтобы можно было давать на прочтение без риска утерять единственный оригинал. По рекомендации ездила с рукописью в Самару. Потом появилась возможность делать ксерокопии, мы рассыпали их по журналам. Но журналы закрывались, отовсюду — отказ.

Алексей обещал рекомендовать стихи Миши в «Континент» и ещё куда-то... Возможно, действительно что-то было напечатано. Однажды Мише в письме из Киева прислали десять долларов. За что, мы так и не узнали, но купюру долго хранили «на счастье». Письмо прислала знакомая нашего американского друга, которая была в Монтеррее, встречалась с Алексеем, он дал ей наш адрес.

Переписка с семьей Коротюковых прекратилась так же неожиданно, как и началась. Это были самые тяжёлые годы развала бывшей страны. Мы разыскивали Алёшу, как могли, ещё несколько лет. Полагая, что почта не ходит через океан, просили бросить письмо в почтовый ящик США людей, которые уезжали туда. Но он больше не отозвался. Не помогли и друзья из Интернета...

Не мог он исчезнуть вот так, внезапно. Нет, наверное, в живых нашего Алёши... А книга стоит на книжной полке, на титульном листе надпись:

«Михаилу Николаевичу Солину, чья боль — моя боль.
Алексей Коротюков».

* * *

Престижные квартиры, развалюхи,
Невольные и вольные рабы,
Апостолы, герои, воры, шлюхи,
Всё из неё — из классовой борьбы.
Вот в чём итог: та страшная борьба
Плодит в душе чуму, разбой, усталость.
Взглянул в себя — там больше нет раба.
Но человека тоже не осталось...

* * *

Не знал я одежды
Достойнее лагерной робы,
И света не ведал
Светлей, чем в барабанной клети.
У гроба, Россия,
Дай снять арестантскую робу.
Дай в саване вольным
Во имя твоё отойти.

Много сказано — прошлого ради.
Я уверен: ему же вслед
Мы расскажем о нынешней правде,
Может быть, через семьдесят лет.
Годы бедствий уйдут вместе с нами
В край распятой любви матерей.
Наши вопли останутся снами
Ледовитых бездонных морей.
Не слыхать автоматного воя.
А в небесной осенней дали
В первый раз, погляди, без конвоя
Над Отчизной летят журавли...

Грядущее — клином

Ещё в Перми Миша написал стихотворение, которое было прочитано моей подругой:

И путь мой недлинный.
И плоть моя — глина.
И слёзы — озёра.
Грядущее — клином.
Прошедшее — ливни
По пеплу разора.

Подруга сказала:

— Это тот случай, когда мастерство играет против автора, потому что он пишет не от жизни. Вот если бы это сочинил какой-нибудь автор из Латинской Америки, можно было бы признать гениальным.

Подруга жила лакированной обложкой советского образца и не думала о том, что мы как раз и есть Латинская Америка, только... хуже. Через несколько лет она положит партбилет на стол со словами:

— Никакой вины за то, что творилось в стране, у меня быть не может. Я этого не знала.

Михаил видит гораздо больше, потому что смотрит снизу вверх, а вся нелепая общественная громада на него давит. Он уже давно убеждает меня, что из тюрьмы вообще видно лучше. Именно поэтому считает, что пребывание в тюрьме для осознания общественных истин для него было необходимо: «Там сгусток общественного неблагополучия. Слепок нелепостей». Только вот... многовато — пятнадцать лет.

Много лет спустя он посвятит мне стихотворение:

Пора — к исходу все, к исходу —
Уму и сердцу моему
В твою тюремную свободу,
В мою свободную тюрьму...

Мне это покажется почти обидным:

— Почему это моя свобода — тюремная?
— Потому что ты тоже в зоне, только оградка подальше и вышек не видно.

И он был прав. Человек должен распрымляться и становиться свободным изнутри. И уже в тюрьме Миша был духовно гораздо свободнее, чем я, идеологизированно воспитанная.

Понять, что творится в мире, со скованными руками можно. Только вот некому. Народ-то там... темноватый, непробуждённый. А с другой стороны — лучше и не будить, зверя дикого узришь. А потому:

И хлопала
Большая
Малой зоне,
Чтоб мелодичней лился
Звон оков.

Многие стихи (начиная с середины восьмидесятых годов) раздражают, по меркам того времени кажутся почти оскорбительными. Сопин вообще в течение всей последующей поэтической биографии будет раздражать, хотя по жизни — полная противоположность.

Не убежать, не защититься мне
От вечного заката на окне,
От алчности персон и персонажей,
От дотов, камер,
Моргов и светлиц,
От модных тканей,
Вытканных из сажи,
От маринада чувств,
От грима лиц,
От модных морд,
И от безликих мод,
Отравленных лесов, полей и вод,
От униформ,
От вечных норм на корм,
От нюхающих газ слезоточивый,
От братьев пьющих,
От неизлечимо
И беспробудно трезвых
Дураков.

Эти стихи, конечно, никто и не думает печатать, а «на кухне» говорят:
— Миша, ну откуда ты всё берёшь? Смотри на жизнь светлее!

Комментаторам и в голову не приходит, что здесь налицо последующая история страны в свёрнутом виде. Обратимся к сегодняшнему дню. «Алчность персон и персонажей?» — кто же с этим нынче спорит! Доты, камеры и морги... к сожалению, их больше чем достаточно.

«Нюхающие газ слезоточивый» — нет, уже не газ — похлеще. Вот насчёт норм на корм и тканей из сажи — пожалуй, в начале девяностых пошли изменения в лучшую сторону, заграница помогла.

Просто удивительно, как поэт постоянно опережает время. Помню, я возмутилась строчками «Враги давно друзьями стали и нам на нищенство дают...»: «Друзьями, может, и стали, но что дают на нищенство — это уж слишком». А пару лет спустя Россия стала получать гуманитарную помощь от Германии.

В конце восьмидесятых годов группа вологодских писателей выступала в Череповце. Преподавательница профтехучилища чуть не за грудки схватила Михаила после прочитанных перед ребятами строк:

Вы куда разбрелись,
Исторически нищие мальчики,

На безлюбии людном
Свои растеряв голоса?!

Опасаясь за неправильное воспитание подопечных, она искренне выкрикнула:

— Мы не исторически нищие!

Прошли годы... Увлечённые бизнесом, сексом и ещё Бог знает чем, молодые люди всё меньше интересуются прошлым страны, попирают святыни, а некоторые регионы бывшего Советского Союза и вовсе откололись, вытесняя русскоязычное население.

Публика набрасывалась на поэта за «чернуху». Но можно ли винить автора за то, что прозреваемая им ситуация оказалась столь тяжёлой?

Увлечение социальной тематикой слишком привязывало стихи к быстротекущему моменту, и я говорила:

— Их ждёт печальная судьба. Время бежит так быстро, что строки, которые звучат сегодня как прозрение, завтра появятся в передовицах газет. То, что тобой выстрадано, другие преподнесут в порядке конъюнктуры. А ты так и останешься для историков литературы... если кому-то будет не лень потрошить архивы.

— Ну что ж, — отвечал поэт. — «Для нас — по-человечьи умирать, коль жить по-человечьи невозможно».

* * *

Меня пугали:
«Путь прямой тяжёл».
Шагал. Решили испытать на робость:
Прикрыли
Многолетним снегом
Пропасть.
Я знал — там пропасть.
Потому и щёл.
В паденьи слышал —
Ликовала рать!
Ну что ж,
Для них победа —
Сабли в ножны.
Для нас —
По-человечьи умирать,
Коль жить по-человечьи
Невозможно.

* * *

Иду среди скопищ и сборищ,
Глупцов и пророков.
Иду издалёка,
Бог знает, в какое далёко.

И тёмную ношу несу я,
И светлую ношу.
И друга в печали,
И недруга в скорби не брошу.
Под таинством неба иду я,
По таинству поля.
Людская неволя во мне
И господня воля.

* * *

Без обувки,
По насту похрустывая,
Прохожу без проторенной колеи.
Далеко, высоко —
Всюду, Русь ты моя:
Недолёты чужие?
Попаданья мои?
Весь наш путь —
Внутри круга.
Бетон — берега.
Видим в недруге друга,
А в друге — врага.
Явно — зло не простим.
Тайно — честь не простим,
Двоедущие личное
Скомкав в горсти:
Углубляемся в масть,
Расширяемся в масть,
Однозначно —
Стремясь выше смертных попасть.
Хором славу поём,
Оглядышься кругом —
Каждый рабье своё
Выжигает в другом.

* * *

Безлюдье. Суда без причала.
Мне горестно, друг мой, до слёз.
Давно ли здесь правда звучала,
Как тяжкий поклёт, как донос?
И снова звучат марш-парады,
И снова затравленность фраз...
Не надо встречаться, не надо,
С толпой, отражающей нас!
Раздумья, раздумья...
Мир зыбок. Всё то же:
Вот — мост, вот — ручей.

И та же двоякость улыбок.
И те же зрачки стукачей.
И вновь всепокорные люди.
И тот же призыв, что звучал...
Ужель мы всегда у прелюдий,
Мы — общество вечных начал?

* * *

Все мы мним себя в жизни пригорками,
Тратя годы
На зависть, на спесь.
В этом больше смешного, чем горького,
Но, конечно, и горькое есть.
За двойными оконными рамами,
Задыхаясь в духовной пыли,
Умиляемся битвами ранними,
Знать не зная,
А что обрели?
Завтра подвиг безумьем окажется —
Это нынче у всех на виду!
Мысли, чувства —
Как летние саженцы
В оглушающе зимнем саду.

* * *

Ужель до смерти мне отпущен
Путь среди чуждых сердцу вех?
Мольба раскаяний в грядущем
За бесконечный властный грех?
И так — чем дальше, тем суровей?
То слепо кайся, то греши...
На белом поле
Капли крови
Измученной моей души.

* * *

Осенний дождь,
Смывай, смывай со щёк
Следы земных печалей и лишений.
Прозрел я свет.
Чего желать ещё?
Свободно мыслить —
Значит быть мишенью.
Не крестоносец страшен нам,
Не хан.
России страшен

Власть имущий хам.
Культура хамства!
Из её тенет
Исхода безболезненного нет.
Лишённая естественного права,
От хамства претерпев, как от врага,
Болезненно, озлобленно, кроваво
История
Хлобышет в берега.

* * *

Речи без смысла.
Темень за дверью.
Не проповедуй!
Я не поверю
В долгое счастье,
В краткое горе,
В малость ненастья,
В радости море...
В то, что по свету
Ходится просто,
В то, что поэты —
Братья и сёстры,
Пустоповерью
Я не поверю.
Не проповедуй
Кровь и победу.
Сносному аду,
Сладкому яду,
Властному зверю
Как я поверю?
В мирные мины,
Доброй простуде,
В то, что безвинных
Нынче не судят.

* * *

Зачем мне пропаганда? Я не слеп.
Устал — не знаю, как сказать яснее —
От мерзости,
Что жрёт народный хлеб
Десятки лет,
Нисколько не краснея.
Отчаяние? Нет.
Я устаю
От трескотни речей,
От политралли,
От лжеповодырей,

Что обокрали,
На нищенство пустив,
Страну мою.

* * *

Баста. Нет больше сил разлучаться,
В пene красной бежать в никуда —
Для борьбы за вселенское счастье
За годами сжигая года.
Не могу — от политанекдотов,
От смирительных роб донкихотов,
От похожестей, тождеств и сходства,
От маразма устал и от скотства,
От притворной общественной спячки,
От пророчащих в белой горячке,
От увечного страха-полона,
От конвульсий дебильных поклонов,
От залапанных истин потёртых,
От починов, значкистов, значков,
И дрожат средь живых, среди мёртвых
Поплавки моих красных зрачков.
А по ним,
Разъярив себя в гаме,
По команде, под рупорный зуд,
Сладострастно хрустя сапогами,
Вожделюбы в шеренгах идут!
От оркестров, от маршей, гавотов
Веселясь, погибая, губя,
Я устал умирать для кого-то
И, наверное, жить для себя.

* * *

Говорила мне обитель,
Подтверждал родной уют:
Зряче Родину любите,
Слепо любят — предают.
Лилипуты — великаны!
Боль — полночная сова.
Резче звякают стаканы.
Глуше падают слова
Веры к прежним интересам.
От всего один бальзам —
Скрытность хлещет по нетрезвым
И давно сухим глазам.
Над полями, над лесами
Тиши да глуши, да вороньё.
Сами, сами подписали

* * *

Согрелся на стылом,
Ожёгся на милом
Душою земною.
А что это было?
А с кем это было?
Со мною. Со мною.
Грядущее — клином.
Прошедшее — ливни
По пеплу разора.
И путь мой недлинный.
И плоть моя — глина.
И слёзы — озёра.
О доля, за что так?
В двенадцать окошек,
Где дом мой лучистый?
Глухая толока.
И род мой подкошен
И вытоптан. Чисто.
И слово — улика.
И немость — улика.
А в сердце доныне
На месте калитки
Росинок улыбки
На стеблях полыни.

(1982-1988)

Иллюзия разума

Сборник «Смещение» вышел в Северо-Западном книжном издательстве в 1991 году.

Я спрашиваю у Михаила:

— Почему «Смещение»? Что смещается и куда?

— Смещение — как иллюзия разума или плата за безумие добровольного возвращения к тому, от чего пытался удрать, используя голоса, реалики... Симуляция новшества. Смещаются ограниченность разума и мгла безумия в сторону новых храмов и вечных истин.

— А что смещалось конкретно в тебе?

— Понятия, их грузоподъёмность. Пытался избавиться от сегодняшнего, чтобы попасть в кабалу завтрашнего-позавчерашнего. Конец света рассматривается как начало рассвета... за которым последует закат мировоззренческого уровня.

— Какой свет кончается?

— Я бы ответил так: приходит осознание невыполнимости задач, изначально виртуальных. Конец света — определение условное. Это скорее захлопывание... аплодисментами, дверью или захлопывание как удаление. Или мимикрия — социалистическая революция, перестройка...

— Можно ли захлопнуть смерть? Удалить под аплодисменты?

— Ты имеешь в виду центробежную силу идиотизма? Или мировые открытия?

— Я хочу спросить, может ли быть у смещения конец?

— Нет. Независимо от того, какое это смещение — колёса телеги или мировоззрения. Речь идет о фиксированном мгновении. Насколько применима сегодняшняя формула для завтрашнего дня? Что словарь Даля — для Интернета?

Смещение — это продукт незакавыченных человеческих действий. Нам трудно ориентироваться в происходящем, потому что живём по закону навязанного. У нас идея заранее противопоставляется её реализации, получается раздвоение. Отсюда — путаница. Каждый человек как бы подмигивает собеседнику: «Я понимаю, о чём ты говоришь» — а на самом деле — нет! И смещение — как отход от навязанного, чтобы вернуться к себе! Осознать: что ты потерял? Что приобрёл? Кто ты — на ладони времени?

Когда я работал в цирке, там был ручной медведик, перед выступлением его держали на цепи. Он вставал на задние лапы и долго-долго подпрыгивал — вверх-вниз, имитируя бег. Вот так и мы — думаем, что куда-то бежим, а на самом деле как тот медведик...

Трагедия каждого человека — его проблемы. Трагедия личности, управляющей государством, — трагедия народа. Какой ценой обретаем мы доблести наши? Проживая в скудоте, утверждаем, что богаты... Смещение — как «раскоряченность» в сознании, когда вдруг понимаешь, что многое неблагополучно.

И что самое удивительное — двое будут размышлять 72 часа, абсолютно утеряя суть предмета обсуждения, но при этом делать вид, что понимают друг друга. Трудно найти момент сближения. И вместо того, чтобы сказать «да», мы вступаем в конфликты — то есть делается всё, чтобы укоротить жизнь, а не продлить её. Нам необходимо определиться в этих размышлениях. Если будем говорить о человеке — результат один. Если об обществе — другой.

— Этот процесс закономерный? Или форма самозащиты?

— О человеке — защита. Об обществе — мировоззренческая усталость.

Невозможность закончить одно, чтобы перейти к другому. У любого дела должен быть результат. Вот мы желаем уйти от войны, насладиться победами. И вдруг оказывается, что «победа — дураку награда, для мыслящего — тяжкий крест». У меня есть стихотворение: «И то, что в молодости подвиг, иначе в зрелости звучит...».

...Усталость и самозащита так же условны, как жизнь. Из чего мы вырывались с кровью — возвращаемся к тому же, но уже по доброй воле. Упоительный возврат в тюрьму-казарму, в храм-тюрьму или симуляция возвращения к вере... Причём всё происходит молниеносно. Только подумал — а оно уже воплотилось! Уплотняется разница до мгновения между тобой — пропевшим и мною — услышавшим.

...Смещение как движение по восьмёрке — от разумного к безумию. Чтобы кормить время, человек насаживает самого себя на крючок вместо наживки, делает пирамиду и в повороте пытается рассмотреть себя в пространстве... Так меньше разрушается психика, её защитная часть. Безразличие времени, избыток его ведёт к смятению, обезличивает потери, находки, слова уже не соответствуют заложенному в них смыслу.

...Не надо мешать жизни определениями, умершими вчера. Вся она — смещение... чтобы ошибаться, делать открытия, забывать о них и возвращаться к прежнему. Но капелька рассвета рождает восторг.

— У тебя есть тревога, что жизнь коротка?

— Что за ценность обретённой жизни, если другой распоряжается именем моим?

— Где же спасение, выход?

— В уровне самооткрытия — «нимб имени моего». Человек открывает свою неповторимость. И через неё только я просматриваю условность или конкретность происходящего. В отчаянии мы выбрасываемся из существования, как киты на берег... Это крик о невозможности реализовать себя в той среде... почти всегда зная, что только такой ценой можно заявить о себе в мире безумия. Киты, работающие «на обслуживание», не выбрасываются.

Я вижу строительство будущего по принципу ласточкиного гнезда. Из маленькой грязючки птаха лепит домик, в котором родятся птички и осенью улетят, но инстинкт рождения непременно приведёт их обратно.

В мире, строящемся по подобию ласточкиного гнезда, не бывает такого, чтобы то, что один созидал годами, другой получал за минуту без всякого труда. Если твои действия вызывают у окружающих улыбку хотя бы малого удовлетворения, уход с мировой сцены воспринимается как полная исчерпанность в деле, которое было для тебя музыкой. И тогда уход не так страшен. Просто: «Прощайте, ухожу...».

СМЕЩЕНИЕ

Как формируется калека?
Смешают свет и тьму ума
В бетонной центрифуге века:
Страна — казарма, храм — тюрьма.
Народный голос — рёв амбиций.
И друг вчерашний — враг уже.
И выполняют план убийцы
Под лязг затворов и ножей.
И уdobряют ниву прахом.
И нет претензий. А к кому?..
И торжествует Молох Страха,
В мешке ведущий
Свет во Тьму.

* * *

Обиды нет
На ревизоров высших.
Их дело — план,
Колонки цифр и строф:
Сочтут рекорды,
Нас бесстрастно спишут
В счёт великовзапойных катастроф.
Судимым, битым,
Недочеловекам,
Нам даже мёртвым искажают счёт.
Я не пропал. Пришёл к исходу века.
Бежит река судьбы моей. Течёт.
А где-то над болотами, лесами
Кочуют стаи душ!
Метель, дыми,
Сокрой их, нелюдей,
Кого списали...
Те, кто всегда зовут себя людьми.

* * *

Свечи. Свечи. Свечи в ряд.
В память обречённым
Души-свечечки горят
В сверхдержавье чёрном...

БРАТЬЯМ МЕНЬШИМ

Прирученные братики-звери,
Всё пронзительней
Душ наших связь:

Я в загонное счастье не верю,
А иного не будет для вас.
Но нельзя.
Не спасти нам иначе.
Легче тем, кто рождён взаперти.
Только я по ночам
Ещё плачу,
Что-то помню о прошлом пути...
То ль леса,
То ли вольное поле,
Где не раз я бежал наугад,
С сердцем,
Рвущимся радостной болью,
Сквозь февральские
Настежь снега.
А теперь от лесов обнищанья
Веет долгая в душу тоска.
Как и вы — я себя ощущаю
В индустрийных железных тисках.
Иногда вдруг заслыши — завыли!
И зайдусь, задыхаясь в ночи.
Сам из тех,
Что в отстрел не добили,
А теперь вот
Должны приручить.

* * *

Иллюзий нет.
Мой путь почти что пройден.
Каков итог? Осмыслим рубежи.
Впитал, вдышал я
Ужас «малых родин»,
Чтоб навсегда
Большой,
Страдая, жить.
Жестокий век,
Жестокий личный опыт.
В нём ослепление и прозренье в нём.
И что пришлось, отхлопав, перетопать,
Уж никаким не истребить огнём.
И в отдалённых тех краях недаром
Жевал свой хлеб,
Как жестяной осот.
Оттуда «десять сталинских ударов»,
Из далей тех осмыслил и высот.
Сбрось массовый психоз, народ, не рань
Себя лесами идолов в металле!
Оплачь калек войны, уродцев, рвань,
Их по твоим же просьбам заметали.

Иллюзий нет, душа.
Помыслим, стой.
Вглядись в фанерки звёзд, в погости-чащи.
Легко произнося: «Тридцать шестой...»,
Мы восхваляем мрак кровоточащий,
Тот, ножевой, жерёбый злобой взмах,
С которого начнутся все расчёты:
Смешав идею Господа и чёрта,
Чума свила гнездилища в умах...
Пока буржуев превращали в нищих,
И тайная плелась интриг игра,
По приграничным росам
Танков днища
Ползли к воротам нашего двора.
Уже повержен Krakov. Пал Париж.
О чём молчишь ты,
Каторжный дружище?
О чём с самим собою говоришь?
По проволоке ржавой
Одиноко
Скользит луна.
Свет камерный в окне.
О ней молчишь,
Теперь уж недалёкой,
В Прибужье сталью дышащей войне.
Тревожно так.
Тревожно мне. Тревожно.
Вдруг резко обернусь —
Глаза в глаза! —
Всё та же всеготовность.
Вновь, возможно,
Команду дав: «Вперёд!» —
Идти назад.
Когда энтузиазм бурлит, нет места
Для личного. Все объединены:
Клеймя «врагов народа», как известно,
Мы глушим мерзость
Собственной вины.
Да, да, да, да,
У нас все это просто.
Достаточно сказать:
«Тьма — свет. Свет — тьма»,
И светоч колективного ума
Не отличишь от стадного уродства.
Вот только так,
Услужливо, уроды,
Вошли мы в тупиковый гололёд.
Лишь только так —
От имени народа
Народ себя
На плаху и ведёт.

Прикажут — бьём.
Заставят — возгордимся.
Притопнут — судим.
Совесть не в цене!
И вот идут уж по карагандинской,
По вечной по колымской целине.
Им несть числа. Шагают легионы...
А рядом — автоматы на ремне.
По всей — по всей земле приговорённой,
По той дальнесибирской стороне.
И гул призывов массовых
Неистов!
Гулаговцам-отцам не угадать,
Куда пойдут сыны-рецидивисты:
В разбой, в забой
Иль под плотину, в гать.
И лишь глава убийц пьяnel от трона,
И зыркал, щурясь, в город и село.
И сонмы,
Миллионы похоронок
В страну
С востока, с запада
Мело...

Пришло время мародёру...

В июле 2003 года Миша взял в доработку стихотворение «Бой отгремел...» и написал посвящение: «Моим родимым — Леночке с Вадимом». Запоздавшая признательность человеку, который никогда об этом не узнает — он умер в 2001 году. Не узнал об этом и второй адресат посвящения — жена Вадима, Лена Кожинова. Связь наших семей порвалась.

Вадиму Валерьевичу, его авторитету, личной заинтересованности Миша обязан своим прорывом в литературу. Он рассказывал, как вскоре после переезда в Вологду был приглашён в гости в Москву. Чтобы создать непринуждённую обстановку в общении с бывшим лагерником, Кожинов решил обставить это «под спирт». На кухонном столе стояло несколько поллитровых баночек, в которых были налиты в разном количестве спирт или вода. Время от времени мужчины заходили, чтобы прихватить очередную баночку, а Лена (единственная женщина!) бегала по кухне, нюхала оставшиеся и частично подменяла спирт водой.

Вадим достал гитару:

— У меня нет голоса, но я пою душой.

Миша протянул руку:

— Дай-ка, я.

Провёл по струнам, поправил настройку. Мастер чувствовался сразу:

— Ах, не одна ли дорожка во поле...

Да и ту прометёт добела.

И не надо ни доли, ни воли,

Кроме той, что ты,

Русь, мне дала.

Напряжение «хрустнуло». Кожинов подхватил песню. Много было спето в тот вечер, а эта осталась главной.

А вот как муж рассказывал об отъезде из Москвы. На вокзал шли с кем-то вдвоём, конечно, пьяные, и в пути друг друга потеряли. Деньги остались у приятеля, а где его искать? — может, уже под забором уснул, или милиция прихватила. Миша вышел на перрон, где уже стоял поезд «Вологодские зори». Завтра с утра на работу. В отчаянии зашёл в вагон и забрался на верхнюю полку.

Застучали колёса. Проводник пошёл проверять билеты...

— Я признался сразу, — вспоминал Миша. — Попросил: «Только не саживайте меня. Выпишите штраф и довезите до Вологды».

Проводник так и сделал. Штраф пришёл на фабрику «Прогресс», Миша сразу его уплатил.



Время от времени Кожинов приезжал в Вологду, Мишу приглашали на встречи. Как-то вологодские писатели сняли прогулочный теплоход и поехали по Сухоне на родину Николая Рубцова — там должно было состояться открытие памятника поэту. На палубе Сопин и Кожинов сидели вместе за столиком, и кто-то сказал:

— Смотрите, два Кожинова.

По интересной случайности они были не только одного возраста, но и похожи внешне.

Дома у нас Кожинов не бывал, но однажды попросил приютить на несколько ночей незнакомого поэта, пока тот не найдёт постоянное жилище. Наверное, подумали мы, такой же бедолага, как некогда Михаил... Мы эту просьбу выполнили, но дружба не продолжилась — кажется, протяжка в Вологде не задержался. Даже имени не помню.

После журнальной подборки 1992 года в «Нашем современнике», где было напечатано стихотворение «Бой глуша. Дальше...», Вадим Валерьевич позвонил в Вологду. Поздравил, и всё повторял:

— Миша... Миша...

Создавалось впечатление, что он то ли задыхается, то ли плачет. (Миша был растроган, растерялся, поделился со мной: «Я даже сначала подумал, что он пьяный».)

Это стихотворение Кожинов цитировал в своих трудах и в телевизионной передаче, а в одном из частных разговоров о Михаиле сказал: «Это провидец».

Когда Миша, рассказывая по телефону о выходе очередного сборника, признался, что поэтической биографией он обязан ему, Вадиму Валерьевичу, тот ответил:

— Жене скажи спасибо.

И всё же, по крупному счёту, Кожинов о Сопине-поэте не написал. Почему? В личном разговоре объяснил это мистически:

— Я, Миша, боюсь о тебе писать, потому что всех, о ком я написал, уже нет в живых.

Но мы с Михаилом думали, что есть тому более глубокая причина. Кожинов сказал правду, когда в 1982 году на встрече в Доме литераторов в Москве мне разъяснил:

— Я поэзией больше не занимаюсь. Перешёл к истории.

Он действительно не хотел больше заниматься современной поэзией, но это ему не удавалось. Приходили такие, как мы, за помощью, и он не мог отказать. Посильно содействовал. Но возможностей оставалось всё меньше — и, похоже, сил тоже.

Через год после выхода сборника «Предвестный свет» в журнале «Москва» появилась рецензия его аспирантки Ларисы Барановой-Гонченко «Это я пробиваюсь через поле судьбы...».

В последний раз Миша встречался с Вадимом Валерьевичем в Вологде уже в разгар перестройки. Кожинов сказал:

— Принеси стихи. Я сам отнесу их Стасу Куняеву (редактору «Нашего современника»).

Миша ответил, что в журнале уже есть несколько подборок, а дома, ещё раз обдумав ситуацию, решил, что нести ничего не надо. Видимо, у журнала в то время уже были другие ориентиры.

— Не всё в моей власти. Но огорчаться не надо, — говорил Кожинов. Имена не назывались, но полагаем, речь шла о тех, кто вырос на кожиновском авторитете и после смерти сделал его своим знаменем. «Приспело время мародёру по душу смертную мою» — похоже, Кожинов применял эти строчки и к себе...

Крупная и неоднозначная это была фигура — Вадим Кожинов. Миша попытался сформулировать своё впечатление:

— Чем дальше он отходил от работы, достойной масштаба его личности, тем больше поворачивался лицом к одиночеству.

Безусловно правильной Михаил считал позицию критика «не замечать» в поэзии то, что ему не близко. Но если заметит «искорку», будет с этим человеком работать.

Эту позицию Сопин перенял, когда ему выпало недолгое счастье общаться с молодыми авторами в Интернете:

— Критика должна быть сестрой милосердия у постели тяжело больной поэзии.

Готовя эту публикацию, я достала две подборки из «Нашего современника», за 1990 и 1992 год, и сначала хотела их объединить. Но вдруг поняла: не складывается! Слишком много в жизни общества произошло за эти два года. Изменилась и поэтическая интонация Михаила Сопина. Она стала жёстче, живописность строф всё более сменялась графичностью. Почти уходила присущая ему в ранний период распевность, а если и появлялась — скорее как скоморошничество. Вместо лирической эйфории: «Без конвоя летят журавли...» — «Исход мой ясен. Враг дал дёру. Приспело время мародёру...».

Публикация 1992 года в журнале «Наш современник» была при жизни — последней. Больше в центральной прессе муж не печатался.

ИЗ ПОДБОРКИ, ОПУБЛИКОВАННОЙ В ЖУРНАЛЕ «НАШ СОВРЕМЕННИК» В 1992 ГОДУ

* * *

Моим родимым —
Леночке с Вадимом

Бой глуше. Дальше. Стороной.
Я обречён державной кликой
Беззвучно плакать
Над страной
В период гласности великой.
Чем больше павших и калечных,
Тем громче слава о войне.
И страшно то,
Что страх во мне
Исталел.
Испеплился.
Навечно.
К тому и шли, мечту веков

Осуществив впервые в мире!
Дым разнесло, в державном тире —
Ни белых, ни большевиков.
Кто устремился к грабежу,
Кто — к ностальгии о тиране.
Прижав ладонь к тяжёлой ране,
Один на бруствере лежу.
Мне, отшагавшему в строю,
Сценарий ясен:
Враг дал дёру.
Приспело время мародёру —
По душу смертную мою.

* * *

Нечем думать.
И веровать нечем.
Пролетарии, проданный класс,
Новый век,
Опускаясь на плечи,
Индуевеет от вымерзших нас!
К небу,
В землю —
Землистые лица.
Церковь в куреве снежном —
Как чёлн.
Вздеты руки —
Крушить ли, молиться?
Но — кого?
Но — кому?
Но — о чём?..

* * *

Стой...
Че-ло-век...
Застыл я, не дыша.
Ржавь проволоки,
Пихты да берёзы.
Я камень сдвинул,
А под ним — душа.
Прильнул к травинкам —
Зазвенели слёзы.

* * *

Иду по закатному полю.
Приучен к побоям, к ярму.
Меняю напасть на недолю.

Свет —
На пустословную тьму.
Эмблему, кокарду, одежду...
Столетьями так.
Почему
Меняем ханжу на невежду?
Не учит нас мир ничему:
Россия. Снега. Занавески.
Бездюдна дорога. Пуста.
Но гордо мы чат
По-советски
Зашитые болью уста.

ОБЩЕСТВО

Приливы да отливы,
Как утлое тряпье,
Смывают торопливо
Сошествие твоё.
Грай воронов о благе.
Ветр созиданья сед.
И на багряном флаге
Слезы горячей след.
Фатальная картина?
Духовный недород?
Шамана на кретина
Меняешь ты, народ.

* * *

...Но в сердце смертном
Три колодца
Материковой глубины:
Былое — без конца и края,
Грядущее — без берегов,
И нынешнее — где сгораю
От брани братьев и врагов.

* * *

Опять лютует боль в груди.
Глаза не видят строк.
Шепчу себе:
Не уходи,
Ещё не кончен срок.
Пока ворочается мысль —
Усталость не беда!
Присядь,
«С вещами» соберись,

Как в давние года...
Тревожно в нашем шапито —
Последний ли скандал?
Но не суди
Рабов за то,
Чего им Бог
Не дал.

* * *

Гляди, душа,
В снежинках млечных лица.
Они во сне
Врачуют сны людей:
Богатым — рай,
Голодным — пища снится,
Толпе — волхвы,
Ущербным — блуд идей.
Такие мысли
Над страницей белой...
Пока пуста —
Ни света в ней, ни тьмы.
Клясть нечто и бранить —
Пустое дело.
Всё в нас самих.
Россия — это мы.

Суждено ли нам выйти из круга?

В 1990 году Вологда бурлила, как и вся страна. Возникали и рушились политические партии, по почтовым ящикам раскидывали листовки, происходили перезахоронения жертв политических репрессий. Люди митинговали в скверах и на площадях. На Кремлёвской площади предложили выступить вологодским писателям. Миша тогда ещё не был членом Союза писателей, но хорошо читал, и его охотно приглашали для публичных выступлений.

До сих пор эти выступления обычно были для него малоинтересными: «обязаловка» в школе, случайная публика в библиотеке... (Как юмористически оценивали такую деятельность сами члены Союза — «отптиковались».) А Михаил жаждал общения с массами, хотел видеть полный зал военных, молодёжи. Наибольшее удовлетворение принесло выступление в вологодской мужской тюрьме (по приглашению политотдела). Сразу установился контакт с аудиторией, довольным осталось и начальство. Михаил знал, что говорить. И вот ему впервые предстоит читать перед сотнями слушателей на площади. Мы решили выбрать коротенькое — выступающих много, Михаила явно выпустят в конце, когда публика уже устанет. Нашли три-четыре «забойных» стихотворения. Наконец, муж остановился на единственном, в десять строк. Площадь есть площадь. Кто-то, придвинувшись, слушает, в задних рядах движение, переговариваются, жуют. Среди публики, как положено, заместитель первого секретаря обкома КПСС по идеологии.

Все настроены благожелательно, выступающие оправдывают ожидания, им хлопают. Звучат стихи о любви к Родине, к природе в традициях Николая Рубцова. И вот настаёт очередь Михаила. Он берёт в руки микрофон и читает медленно, чеканно:

МОЛИТВА

Спасибо,
Господи, ты спас
Меня от раболепья масс,
От гостеррора — зверств людских,
От государственной тоски,
Пророчащих нетопырей,
Отцеубийц,
От лагерей,



От бомб, от пуль,
От века спазм —
От голосующих за казнь,
От вынужд, что в сердце мне мели —
Гослжи,
Госпльянки,
Госпетли.

По многолетнему партийному опыту, по неуловимому «дуновению» среди слушателей идеолог с первых строк чувствует, что происходит что-то не то. Она протискивается вперёд и пытается вырвать у Михаила микрофон:

— А вот этого не надо!

Но рядом оказывается мужественная радиожурналистка Татьяна Файнберг. Она подаёт Сопину свой микрофон, что позволяет поэту дочитать до конца, а Файнберг записывает выступление на плёнку, и на следующий день стихи звучат по радио.

Время демократического подъёма, искренних надежд. Но у Михаила уже нет той эйфории, с какой он вышел из тюрьмы искать свободу. На выборах мы голосуем за правое крыло, а стихи — уже без иллюзий:

Суждено ли нам выйти из круга
Нищих благ, планетарных потерь?
Суждено ли понять нам друг друга
Не когда-то потом,
А теперь?!
Суждена ль нам
Гармония в целом,
Если тело и дух не равны?
Если ваша душа не мертвела
На гигантских
Этапах страны?
Если ваша свобода — в субботу?
Через пеплы,
Кровища и грязь,
Я ходил умирать за свободу,
Обретённой
Неволей гордясь.

В те месяцы на демократической волне родилась новая газета «Русский Север». А в 1993 году туда приходит отличный журналист и фотомастер Алексей Колосов, бывший собственный корреспондент «Рабочей трибуны» в Киргизии, друг десантников и пограничников. Алексей подготовил подборку Мишиных стихов из найденных в редакции оригиналов, когда они ещё не были знакомы. После выхода подборки — познакомились, сошлись. Раз в неделю в «Русском Севере», под названием «Среда», в полосе читательских писем обязательно выходит Мишино новое стихотворение. Обычно это выглядело так: письма, выражающие спектр общественных мнений, в центре полосы — фотография (коллаж) и стихотворение.

Регулярные публикации в этой газете продолжались в течение двух лет и играли огромную роль в пропаганде творчества Михаила. Иногда ко

мне подходили малознакомые люди и говорили о признательности поэту.
На вопрос: «Откуда Вы его знаете?» — ссылались на «Русский Север».

ИЗ ПОДПИСЕЙ К ФОТОГРАФИЯМ И КОЛЛАЖАМ, ОПУБЛИКОВАННЫМ В «РУССКОМ СЕВЕРЕ» В 1998-1999 ГОДАХ

*Портрет ветерана войны с орденом
на нищенской одежде.*

Умудриться бы в этой стране
Как-нибудь
Без ночных визитёров
Свой крест дотянуть.
Для кого и зачем
Я всё это пишу?
Своё сердце
От яростной боли гашу:
Целовали меня
Сапогами взасос.
И войну,
И тюремный режим перенёс.
Значит, здесь я не лишний.
Знать, для судного дня
В летописцы Всевышний
Готовил меня.

Коллаж: старуха-калека идёт мимо храма.

Не поймёшь — какого рода
Наша жизнь без злых вестей?
Пусто власти без народа.
Шиш народу от властей.
Дума дремлет на экране.
За окном — метель жнивьём.
С каждым годом —
В брань из брани.
Ничего, переживём...
Съезд партийный. Гость Китая.
С троеперстием, с пестом
Кособочит Русь святая
Меж Коммуной и Христом.

Фотография: монах в молитве.

К исходу день.
Хлеб чёрный есть на ужин.
Я никому —
И мне никто не нужен:
Ни друг, ни враг,

Ни раб, ни господин.
Я в этот мир,
Прекрасный и позорный,
Распяленный свободой поднадзорной,
Один пришел
И отойду один.

*Коллаж: торгующая толпа на перроне,
из окон поезда свешиваются заграничные вещи...
На переднем плане — глава правительства России
Виктор Черномырдин с зажжённой свечой.*

Рухнули своды идей.
Красные, звёздные своды.
Призраки вольных людей
Стонут под игом свободы.

*Фотография: женщина перед строем ОМОНа,
а вышедший вперёд человек
что-то ей злобно внушает.*

Где-то мыслят.
Наши только верят.
Прикрывая верой зад и перед,
И уже который век подряд
С пьяною слезой,
Под «аллилуией»
Проклинают жизнь свою былую
И о новой,
Светлой говорят...
Продолжайте обольщать надеждой.
В самоупоеньи лгите вновь,
Чтоб опять под серою одеждой
Чёрною
Взбурлила злобой кровь.
Было!
На округу шла округа,
Брат — на брата:
Резали друг друга.
Левое и правое крыло
Красною метелью замело.

*Коллаж: нищая старуха на фоне
правительственного дома в Вологде.*
Дерзаем, строим,
Гробим разом.
Влачим проклятий котому.
В правах
Не восстановлен разум.
Наш путь — свидетельство тому.
Глядит Всеышний,
Брови хмурыя.

Он знает —
Счастье не для нас.
Но пролетарской
Дикой дури —
Астрономический запас!
Живём-живём,
А жизни нету.
В злом милосердии своём
Идиотизма эстафету
В грядущий век передаём.

Фотомонтаж: Ленин, стоя у сломанного автомобиля, почесывает затылок.

Товарищи и господа —
Мольба моя летит безусто:
Нас смыла
Смутная вражда,
Остановитесь от безумства!
К концу столетья —
В никуда
Опять пришли,
Сложив знамёна.
Остекленевшая беда
Нас окликает поимённо.
Куда мы завели страну?
Не миф ли —
Мечущийся гений?
Замёрз рассудок наш в плену
У бело-красных привидений.

Коллаж: могила с крестом, а позади — гигантской тенью женщина с портретом президента Бориса Ельцина.

Тропа дана. Сума дана.
Любви отведен час.
И приговоров письмена
Начертаны для нас.
Играет власть —
Все карты в масть.
Власть сирых — плеть судьбы:
Назад — столбы.
Вперёд — столбы.
И по бокам — столбы.
Защиты нет. Пощады нет.
И свет в окне крестов.
И от тенет, и от клевет
Бессилен Храм Христов.
Так назревает для страны
Проблемы острый нож:
Не Богом мы разделены

На нищих и вельмож.
Одним — в цари,
Другим — в псари,
И предрешён вопрос?
Нет.
Умирает псарь,
Как царь,
И царь гниёт,
Как пёс.

Фотография: потасовка на улице, лозунги, человек в каске...

Команды, колонны, этапы —
Бездонных кочевников шать...
И стали российские бабы
Жить на смех
И наспех рожать.
Страну разрушают обиды —
Бессрочный и наглый цинизм:
Убиты,
Убиты,
Убиты,
Отпеты, пропиты, забыты!
Преступен такой «гуманизм».
Мы сыты идеиною манной.
Всё дорого в жизни в свой час:
Старайся, страна,
Быть гуманной
С живыми.
Сегодня.
Сейчас.

Коллаж: дубинками разгоняют толпу, а над всем этим — икона Богоматери.
Депутаны, федерасты, тати,
Сколько драться будете за трон?
Душам женским отдыщаться дайте.
Тяжко им рожать —
Для похорон.
Отдыщаться бы от войн,
От зон
Ради поколений в обороне...
Голосует скопище воронье.
Тяжкий
Агрессивный
Длится
Сон.

*Фотомонтаж: женщины кормят грудью детей
под картиной на религиозную тему.*

Так мало в нас тепла.
Так много стыни.
Замёрзло европейское окно.
Ни свет социализма,
Ни святыни
Сожжёные
Не греют нас давно.
На фоне снега
Видятся мне лица
Полуконвоя,
Полукаторжан.
И снится, снится,
Будто мы — столица
Иноплеменных северных южан...
Замри, душа!
На ветках — снегири!
Надсаживает сердце
Краткость лета:
Нам не хватает
Теплоты и света.
Нам не хватает
Солнца изнутри.

Чем глупе музика любви... (девяносто третий год)

Через год после смерти Глеба возвращался его призыв. Петя, тогда ещё студент-виолончелист музыкального училища, играл в камерном оркестре. У оркестра не было постоянного помещения, адреса репетиций и концертов менялись.

Иногда в залах было холодно (плохо топили), и страшновато было за артистов, которые выступали во фраках и лёгких платьях, в то время как слушатели сидели в шубах.

Однажды во время такого концерта в зал зашли двое молодых людей в военной форме — они искали меня. Представились: бывший сослуживец Глеба — Слава Цветков из Подмосковья с товарищем. Военнослужащие попросили меня показать Петю. Мы потихоньку вышли в фойе. Ребята рассказали, что едут домой из армии и вот сделали крюк, чтобы посмотреть на брата Глеба — похож ли? Нашли, что очень. Я стала зазывать в гости, но они, извинившись, отказались: дома у нас уже были, а теперь торопятся на поезд.

Я вспомнила эту встречу через два года, когда в воскресенье, 3 октября 1993 года, в зале Вологодского музыкального училища звучали трагические аккорды симфонии Дмитрия Шостаковича в исполнении гастро-лирующего симфонического оркестра. Но мы ещё не знали, что в Москве стреляют.

Возвращение домой было ошеломляющим. Мы с Мишой провели бессонную ночь у телевизора и приёма. Мише показалось, что в одном из интервью для радио, взятом на площади у Белого дома, прозвучал голос нашего друга, молодого режиссёра документального кино из Санкт-Петербурга, Александра Сидельникова, который делал в Вологде фильмы с участием Михаила. Частично фильм снимался у нас дома.

— Дядя Миша, — спрашивал Саша, — а что такое для вас понятие Родины?

— Я здесь живу, и всё, что с ней происходило, происходит и будет происходить — мёё. Надо понять, чего нам не следует делать, хотя бы для того, чтобы не делать хуже... Посмотри, как мы ведём себя на Родине — то

ли как на случайно оккупированной территории, то ли в хлеву: страшно ногу поставить, чтобы не очутиться в дерьме. Нам на гербе вместо медведя надо мусор прицепить, чтобы помнили, где живём. Пробьёшь верхушку корки, на которой обиташь, и окочуришься от внезапного потока зловония.

Сейчас Родина — страдающий больной. А человек на ней должен



чувствовать себя, как младенец на груди у матери: защищён и накормлен; свободно, уютно и не страшно. Красотой, добротой должен быть привлечен. Чтобы каждого, кто уехал — в Прибалтику ли, в Америку — посещала мысль: «Надо поскорее купить билет, съездить домой, в Россию...». Это и есть любовь к Родине. И если я увижу у себя в доме неблагополучие — разве не скажу об этом? Всё, что я делаю в поэзии — мой метод защиты свободолюбивых, нормальных отношений...

И вот теперь неведомый нам столичный радиожурналист, узнав известного документалиста, спрашивал у него — каково настроение в российской глубинке? И тот отвечал в свойственной Сидельникову манере:

— С российской глубинкой — нормально.

Так мы узнали, что Саша, как всегда, в центре главных событий.

Весь день по Российскому радио, в перерывах между репортажами и перестрелками, звучала песня Булата Окуджавы:

«Не обмануться бы во мраке: чем глупе музыка любви,
тем громче музыка атаки...»

А вечером стали передавать списки погибших. Среди них был назван кинематографист из Санкт-Петербурга... Александр Сидельников. Снайпер убил его со спины. Попасть в Сашу было нетрудно: ростом под два метра, богатырского телосложения — он всегда возвышался над толпой. Стреляли по человеку с кинокамерой.

В Мишиной книжке «Девяносто третий год» всего семь страниц. Серийное производство рекламной библиотечки, задуманной в целях поддержки нищенствующих поэтов. Сборник-проспект тиражом в 1000 экземпляров издавался в Москве согласно федеральной целевой программе книгоиздания России. Предполагалось, что авторы эти книжки будут продавать или распространять, и таким образом о себе заявят. Будучи в столице, я сложила тираж в две большие сумки: хотела часть оставить в московских книжных магазинах, но... оказалось, что платить за продажу и хранение придётся дороже, чем от того выручка. Увезла всё в Вологду. Конечно, мы ничего на этом не заработали. Раздавали, дарили...

Великое дело делал Союз писателей России этой акцией. Поэтам давали понять, что их творчество может быть востребовано.

СТОЛИЦА

Открывай, столица, врата,
Гульче бей, звонарь, в набат:
Убивают братец брата,
Смертным боем —
Брата брат.
Ржава память!
Мысли ржавы!
Девяносто третий год!
По державе
Две державы —

Красный сход
И крестный ход.
Триста лет, не третьи сутки,
Дикий лай, стервотный вой —
Скопари и проститутки
Над Россией становой.
Орды. Морды.
Кто? Откуда?
Вурдалаки во главе.
Тянут лапы зла и блуда
К древней белой голове.

* * *

Александру
Сидельникову

Преступную в злобе,
По-детски святую,
Туземью,
Богатую, нищую,
В вере слепую, тебя,
Больную, хмельную,
Чужую, родимую землю,
За всё, до удушья,
До спазм ненавижу,
Любя!
Ты вечно, Россия,
Была замордованным краем:
Воюют брат с братом,
С семьёю враждует семья.
До нас пропадали.
И мы, не живя, отмираем.
Зачем же, скажи мне,
Уходят твои сыновья?!

Не плачь, моё сердце,
Не жди в этой жизни привала.
Нас матери наши
Затем ли рожают на свет,
Чтоб властная клика
На наших костях пировала?
Иначе у нас не бывало.
Не будет.
И нет.

* * *

Крестили —
Тебя не спросили,
Раб божий,

Земной человек.
Идёт «пробужденье России»?
Двадцатый кончается век!
В сне перекошены лица
Идейно озлобленных зон.
И длится,
Всё длится и длится
В веках затянувшийся сон.
Прощай, сочинённое чудо,
Страна,
Диких мыслей игра.
Пора уходить ниоткуда.
К себе возвращаться пора.
Мечтанье — продленье обмана,
Кукушка в декабрьском лесу,
Мосток из огня и тумана,
Качающийся на весу.

ЧАША

За фронт
И за опухший тыл,
За жертвы,
За громил,
За старших пил,
За младших пил,
За то, что свет не мил.
За «Землю Малую»,
За Курск,
За-за-за-за-за-за...
За «развитой»,
За «верный» курс,
Самоубийц глаза.
За Млечный Путь,
За красный брод, —
До донышка — до дна!
За оболваненный народ.
А чаша всё полна.

* * *

В передрассветном
Стоне сухожилий
Шуршит усталость,
А не благодать.
Мы за Россию
Стольких уложили,
Что уж самой России не видать.
Сгорает память.

А по гарям — зимы.
И в этих вечных зимах
Я поблек:
Так тягостно мне,
Так невыносимо
От героизма нищих и калек.

* * *

Церковь — словно погасший фонарь.
Не пойму — слышу звон или помню?
Не зови меня,
Новый звонарь,
На поруганную колокольню.
Нету веры былой.
Нет огня:
Много минуло,
Всё ль миновало?
Я тебя не спасу,
Ты — меня,
Как в нашествие ревтрибунала.
Зависть правит толпой и азарт,
Срам и страх с круговою порукой.
Не зови.
Не вернусь я назад.
Мёртвым звоном меня не аукай.

БЛАГОВЕСТ

Едва под звоны
Отворили храмы,
Как хлынули толпой
В дворяне хамы.
Не дай нам Бог,
Изменится погода —
Не миновать
Семнадцатого года.

МАТУШКА

Величают тебя белой лебедью,
Свет-Ярославной.
С безответным вопросом
Подхожу к тебе, как по ножам:
Христианка ли ты,
Если ты не была православной?
Православна ли ты,
Полосу плетьми прихожан?

Что ж вы, братья по вере,
Мужиков забивали в колодки
И вели на торги
Продавать православных, как скот?
И шалел от бесправья мужик,
Как от яростной водки,
Наспех лоб осенив,
Торопился в дубраву на сход.
Ой, не раз ты, не раз
Спотыкалась, Россия, на ровном:
То Приказ, то Указ —
Проявление высших забот.
Разъясняли друг другу
Православные волки и овны:
Общей Родины нет,
Есть своя у рабов и господ.
Непролазная ложь,
Будто прежде любили друг друга.
Отвернулся Господь?
Государю и нам не помог?
С головами накрыла нас всех
Бело-красная выюга,
И семнадцатый год
Совместил эпилог и пролог.

ПЕВЦЫ

Певцы-слепцы,
Нам было так по нраву,
Свой край любя,
Воспеть над ним расправу.
Мы, славя слепо,
Приближали день —
День погребенья
Русских деревень!
О, как звонкомедально лесть звучала —
Разбойный улюлюкающий гимн!
С тех самых пор положено начало
Губить — одним,
А каяться — другим.
Российский панихидный день —
Наш праздник:
Гуляй, круши,
Чтобы в конце концов
За море слёз,
Немыслимые казни
Посмертно обвинить вождя слепцов.
Отчизна, через сокнувшие веки
Я плачу о себе,
О человеке...

Сам пред собой — в закате золотом —
Слепой пастух,
Растоптанный скотом.

МУЖИК

Недавно в гости не просили —
Сегодня грабят.
Вороньё!
Не надо каркать о России,
Вы трижды предали её.
Кровь полевая не остыла.
Непостижимо:
Не враги —
Извечные капитёры тыла
Опять сгибают в три дуги
Того, кто мыкал все напасти,
Да в самый смак,
Да в самый шик
Тебя, архангел серой масти,
Российский спившийся мужик!
Не от трудов душа сломалась,
От вечной лжи
Ты сдал хребтом,
И если б выпрямился малость,
Стоял бы в уровень
С Христом.

* * *

Запеть бы мне,
Да голос тих.
Едва подумаю о добром,
Бьёт сердце изнутри по рёбрам,
И бред слетает с губ моих.
И явь мне шепчет:
Не трави
Живых! Пой в пустошь на причале.
Вся наша слава на крови —
Идейный полигон печали.
Не примирив народ и власть,
Служивых со сторожевыми,
Дано нам
Вечно мёртвых клясть
И лебезить перед живыми.

* * *

Я знаю,
Чего мне не надо:
Чтоб вновь загуляла чума
Партийно-копытного стада,
Врываясь в сердца
И в дома,
Чтоб разумом
Правили страсти,
Погости плодя без гробов,
Шизоидов,
Рвущихся к власти,
Младенцев с глазами рабов.

* * *

Мне тягостно и дико,
Что «самооговор» —
И правда,
И улика,
И смертный
Приговор.
Печальны вы
Иль рады,
Враги или друзья —
Не «выбивайте»
Правды.
Она у всех
Своя.

Обугленные веком



«Мы входили в жизнь без идеологических шор, с широко распахнутыми глазами от бомб 1941 года. Мои откровения не давались мне через лозунги и декреты. Всегда через личные потери, через страдания. Мы искали в правителе высшего судию, а находили в рабе палача. Мы жаждали от сильного покровительства, а находили в слабом садиста. Мы искали в незнакомом друга, а находили в кровном враге...

Мы собачьими глазами просили у общества участливой нежности, а общество обеспечивало нас ненавистью по высшей категории. Материнскую ласку, друга, любимую, свободу, пайку и махорку нам годами заменяла ненависть. Так было до тех пор, пока я не увидел,

что ненависть плачет беспомощными слезами... Почему? Потому что наша ненависть являла собой бессмысленную, щенячью форму самозащиты, рассчитанную на милосердие от обнажённой общественной дикости.

Мы входили в мир без идеологических шор и уходим без иллюзий. Именно это укрепляет меня в убеждённости: рано или поздно, при мне это произойдет или без меня, если ненависть способна заплакать покаянными слезами, Родина неизбежно обретёт человеческий облик. Так думаю. Над этим работаю», — таким предисловием начинается сборник стихов «Обугленные веком» (1995 год).

Точнее концепцию своего творчества Михаил не выразил, пожалуй, больше нигде.

Изданием этого сборника он обязан Совету самоуправления (так тогда называлась городская Дума) и администрации города, а инициатором выступил депутат-коммунист Владимир Громов. Удивительным образом за стихи Михаила хватались представители разных политических течений: им казалось, что он бьёт их врагов, и только потом соображали, что в такой же степени это повёрнуто против них.

Володя — бывший железнодорожник, которого мы более знали как исполнителя бардовских песен и прекрасного, чуткого человека. Бывал у нас дома. Обладал редким по проникновенности тенором, играл на гитаре. Ему Миша посвятил одно из своих лучших стихотворений «Слева — чаща. Леса...», которое мы полюбили в его исполнении.

К тому времени, как мы подружились, Володе было за сорок. Он имел высшее инженерное образование, но трудился машинистом тепловоза (здесь больше платили). Работу любил — в его рассказах о дальних рейсах много поэзии. Но вот выработаны годы, необходимые машинисту для получения пенсии, а сил ещё достаточно, в душе неудовлетворенность. Володя вступает в Коммунистическую партию и с головой окунается в политику. Сначала он становится одним из самых видных депутатов го-

родского Совета самоуправления, а потом делает головокружительный взлет — по спискам КПРФ проходит в Государственную Думу. Мы догадывались, что, поддерживая Михаила, Володя рассчитывал привлечь его к агитационной работе. Стихи нравились, и компартию Громов поддерживал искренне, только, думается, идеалы КПРФ он больше сочинял... Миша утешал: «Володя, не переживай. Для меня неважно, сколько партийности в человеке — важно, сколько человечности в партии».

(Через четыре года Громов вернётся из Москвы и отойдет от политики. На расспросы будет только с досадой махать рукой, да мы и не станем спрашивать. По слухам, он хотел сборником «Обугленные веком» разразить товарищей по партии, но не встретил поддержки. Стихи никуда «не пошли», почему мы только порадовались.)

А сборник остался... По тональности он близок к «Девяносто третьему году», стихи жёсткие, часто афористичные. Очень много посвящений. Миша говорил: «Что я могу сделать для людей, которых люблю? Подарить стихотворение. Другого у меня ничего нет...».

Однако в целом от книги — неудовлетворение. Отделение Вологды от Северо-Западного издательства привело к тому, что квалифицированные редакторские кадры остались в Архангельске, своими Вологда так и не обзавелась, а мы навсегда потеряли поддержку Елены Шамильевны. В непредсказуемой политической обстановке и ожидании очередного дефолта выделенные средства надо было использовать молниеносно. Сборник «Обугленные веком» (230 страниц) составлялся в спешке. Миша с другом подбирали опубликованное в газетах (якобы прошедшее редактуру, что на самом деле было не всегда). Несмотря на серьёзные удачи, сборник оставлял впечатление «сырого». Незадолго до смерти Миша взялся его переработать. Некоторые исправления нам с сыном потом показались спорными... Спорным кажется и художественное оформление, хотя оно делалось в соответствии с пожеланиями автора. Тем не менее... если бы мы тогда не собрали эти стихи вместе, то и вовсе растеряли бы их.

...Одно мы отсылали, другое забирали случайно зашедшие знакомые. Потом хватались — оказывалось, что самое удачное неизвестно где. Миша стал печатать под копирку, но копии тоже терялись, а горы недоработанных стихов, к которым автор терял интерес, росли.

Время от времени я пыталась систематизировать рукописи, но получалось плохо. Михаил постоянно рвался вперёд, многое оставалось на уровне заявок. Всё это складывалось в пачки, которые перевязывались тесёмочками. Миша обещал, что к этому вернётся, но становилось всё яснее, что такое время вряд ли наступит.

Бумаги заполняли квартиру, собирали пыль. Однажды я жёстко за них взялась. Делила рукописи на несколько кучек: номер один (удачное, но чуть подработать), номер два (отдельные ценные строчки и мысли) и номер три — копии, на выброс. Печки у нас не было, уличный контейнер Миша использовать не хотел. Мы набивали рукописями хозяйственные сумки и увозили за город на свой картофельный участок — сжигать. Когда у Миши серьёзно заболели органы дыхания, врач потребовала капитальной чистки квартиры. Унести рукописи было некуда, возить для сжигания не стало сил. Я упаковывала их в газеты и бросала в мусорку...

Сначала дело шло довольно бойко, среди ранних стихов слабого попадалось много. Но потом я всё чаще оказывалась перед фактом, что вы-

брасывать практически нечего. Наконец сказала: «А в этом разбирайся сам». Груды бумаг месяцами лежали на подоконнике. Порой я вытаскивала что-нибудь из середины для журналистских нужд, и если видела в стихотворении удачную мысль или строку, подсовывала для доработки. Часто такой ход бывал плодотворным.

...Муж вернулся к сохранённым стихам незадолго до смерти. В последние месяцы нового не писал, но охотно правил: это было не только занятие для души в больничной обстановке, но и отвлечение от физических страданий. Стало ясно, как много там ценного. Это же почувствовали мы с сыном Петром, разбирая рукописи после смерти. Наследие оказалось гораздо богаче, чем можно было предположить.

* * *

В. Громову

Слева — чаща. Леса.
А направо — обрыв.
А с небес — голоса,
Плачут души в надрыв:
О себе, о тебе,
Обо мне, обо всех —
Как по красному полю
Калиновый снег.
Лопнул свет — грозовой!
А за ним — темнота.
И распяло меня вертикалью плата.
Не видать ничего.
Я ослеп, что со мной?
Заливает глаза
Маслянистой волной.
Но устала река.
И вздохнула вода.
И великою тишию объяло года.
И пока я пытался понять — пронесло?
Поглядел, а в руках
Догорает весло.
Вниз по речке — закат.
Вверх — калина в цвету.
Без весла, без шеста
Я плыву на плоту.
А вода холодна-холодна!
И красна.
И на тысячу лет
Подо мной
Глубина.

* * *

К разрубленным виями узам
Влачился
С великим трудом.
Отторгнутый братским Союзом,
Спешил я в родительский дом.
И вижу,
Что нет его боле:
Звон вишен,
Кукушечий плёс —
Обман.
На мираж колоколен
Ползу, как подстреленный пёс.
Чтоб скрыться,
Уйти от бессилья,
К тебе, обновлённой, стремлюсь,
Умытая
Кровью
Россия,
Слезами
Омытая Русь.

* * *

Век гильотинный,
Липкий,
Век железный.
Прошу, молюсь
У пропастной межи:
Останови нас, Господи,
Пред бездной,
До жатвы
До кровавой.
Удержи!

* * *

Когда я говорю,
Что нет меня,
То это значит:
В сердце нет огня.
Я стал другим.
Поэзия не та.
Вокруг —
Зияющая темнота.
Темна, необитаемо-пуста
Моя душа,
Как церковь без креста.

КАЗНЁННЫМ ДО РОЖДЕНИЯ

Двадцатый век!
Часы несут
Бред классовый
После итога:
Война. Экстрема — Божий суд?..
Казнил народ
Царя и Бога.
Полуночь вспарывает:
«Ах!»
Свистя, сечёт кровавый посох
Детей,
Убитых в матерях,
В больницах,
Наочных допросах.
Всё это в жизни,
Не в бреду:
Из подземелий лица, лица...
Детишек призраки идут
Взглянуть в глаза своим убийцам —
В глаза родителям идей,
В глаза защитникам детей,
Чиновным людям и врачам,
И государевым заплечным
Идут. Идут по далям млечным
Колонны мёртвых по ночам.
Хоругви выуг метут косые,
Переливаются, шуршат,
Бинтуя в путь
Стопы босые
Лишённых жизни малышат.
Бесчеловечно. Стынь пустынь.
Энтузиазм умалишённых
Натасывает капюшоны
На церкви, пашни, на кресты.
Меж тунеядцев и стиляг,
Мстя городам,
Диктуя избам,
Междо вождизмом и рабизмом
Век движется на костылях,
Раскачиваясь, как сосуд,
Расплескивая сладость яда.
Кто там припомнит Божий суд?
Не надо, Родина.
Не надо.

ЧЁРНАЯ ЛАМПАДА

Из позабытого былого
И скорбь светла,
И боль легка.
И мысль, и праведное слово
Доходят лишь через века.
Ни мира нет в тебе,
Ни лада.
Казнишь и славишь на бегу,
Россия —
Чёрная лампада
На вечно каторжном снегу.

ТРЕТИЙ АНГЕЛ

Разгул. Животность.
Ересь-речь.
Народ и есть народ,
Не боле:
То табунами
Церкви жечь,
То бандами на богомолье.
Вновь третий ангел пред лицом
Ждёт, когда дождь падёт свинцом
И всё затмит-зальёт:
И проклянут отцы сынов,
Сыны пойдут против отцов
Сквозь красный гололёд!
Река из слёз,
Из крови брод...
Мне стыдно за такой народ!
За перекошенную внешность,
За нищедольные края.
Моя Россия —
Ум и нежность.
Бандитски-рабья — не моя!

* * *

Отчизны мрачные черты:
Сокрытость,
Злоба человечья.
Незримые свистят кнуты,
Переуверенных увеча.
Калеча явь,
Вторгаясь в сны,
Звенят, грозят стальные путы.
Влачат гиганты кладь страны.

Сидят на козлах лилипуты.
Ошеломлённые, с трудом
Живём, в невежестве и в шоке.
Пока рядились строить дом,
Кузнец сковал к нему решётки.

* * *

Вечно борьба или бой —
Ради калечных оваций.
Тяжко нам, русским, с собой
Наедине оставаться.
Тысячу лет я в пути.
Тысячу лет — всё знакомо!
Тысячу лет не уйти
Из сумасшедшего дома:
Бесятся, рушат, творя,
Курточки, форменки, шубки...
Вытекший глаз фонаря.
Жутки
Российские
Шутки.

ТОЛПА

Во многоглазом тулове
Нет Бога.
Она всегда
За божеской межой:
Двулика. Самоедна и убога.
И каждый самому себе — чужой.
В кликушестве сильна.
В добре нема.
Над разумом владычествует тьма.

* * *

Память, память...
Стар я, болен?
Как я нынче одинок!
Тянет сердце возвратиться
В мир иллюзий на денёк.
Нет, не плачу я, не плачу...
Это там, в груди, в глухи
Одиноко стонет кляча
Дико загнанной души.

* * *

Я знал тебя, Россия,
Всякой, разной:
Полубезумной — в пятилетках казней,
Под карлика, ублюдочного хана
Ложащеюся мстительно и пьяно,
Этапной,
Атакующей в бою!
И задыхаясь,
Говорю упрямо:
Всё вижу, светлая,
Всё помню, мама,
Кладя ладонь
На голову твою.

РОССИЯ — ЭТО МЫ

Гляди, душа —
В снежинках млечных лица.
Они во сне
Врачуют сны людей:
Богатым — рай,
Голодным — пища снится,
Толпе — волхвы,
Ущербным — блуд идей...
Такие мысли
На странице белой.
Пока пуста —
Ни света в ней, ни тьмы.
Убийц к ответу звать —
Пустое дело.
Всё в нас самих.
Россия — это мы.

(Из сборника «Обугленные веком»)

Не сожжена свеча...

Тот, кому «повезло» быть солдатом в сорок первом, остаётся им навечно, даже если ему было тогда десять лет. Тем более, если десять, а выбор сделан без присяги.

Напомним, что Михаил и сам был из семьи военных, где высоко ценилось и воспитывалось чувство патриотизма и долга. Его деды разошлись разными дорожками — но все считали, что сражаются за Родину и свободу. Отец был военным инженером, испытателем танков на 183-м танковом заводе в Харькове (ныне завод имени Малышева). В конце тридцатых арестовали... Через год отпустили. Мише было семь лет, но он был потрясён и запомнил, как ночью отец, держа в руках большевистский партбилет, пил и плакал (странные поведение для военспеца и коммуниста!). А вскоре отец умер от скоротечного распада лёгких. Его хоронил весь завод.

Михаила съязмальства учили брать на себя ответственность. Неслучайно в сорок втором бабушка посыпала 11-летнего внука выводить из Харьковского «котла» советских солдат, хотя не могла не понимать, чем рисковала.

С тех пор и навсегда Сопин остался защитником человека в погонах — того, кто умирает по приказу. Ему нравились люди мужественные, с активной жизненной позицией. В Перми казался прекрасным романтический бросок молодёжи в Сибирь:

...Я завидую БАМовцам,
Рельсы бросающим в жизнь.

В Вологде однажды пригласили в молодёжную редакцию на встречу с «афганцами» первой волны. Дома Миша рассказывал: его покорил рассказ юношей о том, что, когда им предложили защищать братский народ, единодушно шагнули вперёд добровольно. Современное поколение этот порыв не поймёт... а тогда это было искренне, и Сопин тоже откликнулся стихами.

(К счастью, оба стихотворения не были напечатаны и потерялись.)

Он не просто откликнулся на события времени (для непечатающегося автора занятие более чем бесполезное). Он ими ДУМАЛ: «Освобождал в сознании место, чтобы было от чего оттолкнуться и двигаться дальше».

Но дискредитация афганской кампании уже начиналась, патриотично настроенная молодёжь оказалась заложницей политических игрцц. Позднее Сопин скажет жёстко:



Но человеком быть уже
На белом свете не престижно.

Если понимать Родину, говоря словами поэта, «не просто как собрание берёзок-рябинок, а в совокупности с общественной жизнью, то она меняла декорации быстрее, чем люди успевали разобрать, что на них изображено». «У нашей Родины слишком непостоянное меню». Это очень знакомое многим состояние отражено в стихотворении:

Я знать хочу,
За что мне власть
Вчера любить,
А нынче клясть.
...Я знать желаю след во след
Не через семь десятков лет.

А как же здесь быть человеку в погонах? Тому, с кого требуют не просто любить или клясть, а умирать?

Солдата убивают дважды:
В бою и в памяти людской.

Отделяется Прибалтика. Громят могилы бывших освободителей, которых теперь именуют оккупантами. Полны сочувствия к человеку в погонах строки:

Нет слез балтийских, русских, датских...
Они одни на белый свет.
Не трогайте могил солдатских.
Средь павших оккупантов нет!

Как реквием читается стихотворение «Двадцать девятое марта» на тему чеченской войны. В те дни бригады ОМОНа гибли одна за другой, и не всегда было ясно, почему. Помню кадры по телевизору: хоронят омоновцев Сергиева Посада, а сквозь толпу пробирается чудом уцелевший парнишка. Его пытаются остановить, тележурналист сует микрофон, но он угрюмо отодвигает камеру: «Я ни-че-го не буду говорить».

А через короткое время — подобная история с Пермским ОМОНом. Этот край (Пермь, Березники) почти родной. Мы многих там знали и с напряжением смотрели на телезкран: вдруг появятся знакомые фамилии? Нет... Но всё равно — на фоне знакомых городских пейзажей они, как наши дети, сверстники наших детей. Медленно проплывает по экрану список убитых, задерживаясь на каждом имени...

ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОЕ МАРТА

Памяти Пермского ОМОНа (2000 г.)

Всё длишься ты, праздник,
В слезах о родимых и близких.
Убитых бригады
Глядят на сошедших с ума.
Я вижу Россию
В военных дождях, в обелисках.
Солдат безымянных
Земля возвышает сама.
Мне стыло от мыслей.
На юге по-мартовски тало.
Психозно гудит над страной
Похоронный завей —
Я слышу, я вижу,
Я знаю, земля, ты устала
И плотью, и духом
Своих хоронить сыновей!
Сегодня
Засадой
Расстреляна группа ОМОНа...
Мне даже молитва
Казённо звучит, как враньё!
И память моя
Окликает ребят поименно:
Простите,
Простите,
Простите бессилье моё.

* * *

Нас гваздали будни и беды,
И лозунгов диких враньё
За множество лет до Победы
И столько же — после неё.
Без слов, без гранат, без атаки,
Вслепую — какая там связь! —
Ложились под бомбы и танки,
Российской землём становясь.
Над нами
По росту, по ГОСТу
Шеренги чеканят шаги.
Живых вопрошают погости:
«Россия! Над нами — враги?
Чья форма на них, чьи медали?
Не видно сквозь тяжесть земли...
Скажи, чтобы здесь не топтали,
Скажи, чтобы в нас не плевали.
Мы сделали всё, что могли».

Ищу друзей
На той войне.
Здесь мир не мой.
Страна другая.
Мне страшно, братцы,
Пусто мне.
Чужой я здесь
До содроганья.
Бегу — в огонь из-под огня.
Пить! Пить... хочу...
Красна водица!
И понимаю — для меня
Что умереть, что пробудиться.
Приснилось мне,
Что я живой.
Рассвет был мрачен и прохладен.
И ветер почты полевой
По голове меня погладил...
В каком году, в каком краю —
Приговорённо, безысходно
Средь павших без вести стою
Один,
Построенный повзводно.

Окопный брат,
Этапный друг,
Идёт к концу наш путь
Без брода.
Я вижу хилость вздетых рук
В поддержку палачей народа.
Свои — в своих.
Расстрел в лесу
Живёт во мне,
Идёт по следу.
Полвека с лишним
Я несус
В руках закованных
Победу.
Страна в общественном бреду
Трагическую
Славит дату!
Спасибо, мать,
За доброту
Твою к российскому солдату.
Такой ценой, такой ценой...
Другой для нас с тобою нету.

Давай, товарищ,
По одной
За нашу
Тяжкую
Победу...

* * *

Глухой безвыходностью заперт,
Я вижу
Истины фасад:
Мы шли солдатами на Запад,
Вернулись
Пленными назад.
Зачем я это вспоминаю?
Так жаждал верить
В то, что есть
Другая жизнь,
Совсем иная!
Да не про нашу, вышло, честь...
Маразмом общества контужен,
Я знаю фронт.
Я знаю быт!
Солдат — герой,
Пока он нужен.
Война окончена —
Забыт.

* * *

Звон погребальный
Над родимым кровом
Опухшим,
Заметённым добела.
Зачем я
Новой ложью зачарован,
Пытаясь заглушить колокола?
Дымов и вьюг кочевья — на Воронеж...
А над селом — безбрежность воронья!
Зачем ты, память,
Стон души хоронишь,
Во мне, живом, былое хороня?
Не сожжена свеча!
Стакан не поднят...
Романтика —
Особый род вины.
Опомнись, помолись:
Они уходят,
Последние солдаты
Той войны:

Идут через норильские ухабы
В безмолвное ничто
Издалека
Последние
Солдатские этапы,
Безвестные
Советские
Зека.

СТЫД И ПАМЯТЬ

Бесконечно в юдоли земной
Стыд и память
Плетутся за мной,
Год от года
И день ото дня
Загоняют раздумья меня:
До Чечни
Со Второй мировой
Поэтапно
Добрался
Живой,
Чтоб отсюда глядеть
В те года
Через сумерки
Слёз
И стыда.

* * *

Полковнику Буданову

Войной
Сменяется
Война.
Темны
От зёрен чёрных
Всходы.
Куда стремишься ты,
Страна,
С державным знаменем
Свободы?
Года. Беда.
Гробы в свечах.
Судилищ диких
Полигоны.
И на полковничьих плечах
Гвоздьми
Прибитые
Погоны.

Пришёл солдат из плена
И чувствует душой:
Родные пахнут стены
Обителью чужой!
Кругом чужие лица.
И всё без перемен.
И больше жизни длится
Бесчеловечья плен.
Прополз по лихолетью.
Пришёл
В свою страну.
Напился,
Сделал петлю
И завершил Войну.

Мельница на костылях

У поэта есть два, казалось бы, взаимоисключающих стихотворения. Вот одно:

Живу в другой стране.
Звонят колокола.
Из той, где прежде жил —
Ни отклика, ни звука.
Всё — думы. Всё — дела.
И память подвела —
Когда и с кем была
Последняя разлука.
Гуляю иногда.
Вдруг резкий окрик:
«Стой!»
Я замедляю шаг,
Едва соображая,
И с болью сознаю:
Не свой... Не свой? Не свой!
Чужой я для неё.
А эта —
Мне чужая.

И другое:

...А я без смутной вести
За краем вижу брод.
Сейчас, на этом месте,
Рождается народ.

Ситуация для этого автора не такая уж необычная: у него много противоположного, казалось бы, взаимоисключающего, сливающегося в полифонию, которая после некоторого привыкания совсем не кажется противопоставленной.

Обратимся к первому стихотворению. Если идти по упрощённому варианту — типичное состояние человека старшего поколения, выкинутого из жизни (нищета, маленькие пенсии, обидно за падение Советского Союза, раздражают «новые русские» и т. д.). Хотя типичный представитель старшего поколения о Союзе тоскует, а поэт говорит: «Я той стране — чужой...». То есть это скорее диссидент, а не поклонник системы.



В состоянии выкинутости всегда оказывается часть населения при революциях (кровавых, как в семнадцатом году, или относительно мирных, как в девяносто первом). Это состояние Владимира Набокова, в ночном кошмаре мысленно возвращающегося в Россию, чтобы быть расстрелянным в одурманенном цветущей черёмухой овраге. Оно знакомо беженцам — бывшим советским гражданам всех волн эмиграции, почти независимо от того, как складывалась дальнейшая судьба. В данном случае речь идёт о внутренней эмиграции из обеих стран — и бывшего Советского Союза, и нынешней — непонятно какой — России. У поэта рождается страшный образ Родины в виде мельницы, бредущей на костылях:

Вольная-вольная воля.
Лунное-лунное поле.
Вдаль убегающий шлях.
И через лунную жижу
Движется — чувствую, вижу —
Мельница на костылях.
Шаркают свайные ноги.
Скорбно скрипят костили:
«Я заблудилась
В дороге.
Родина я. Постели.
Крови потеряно много.
Все упованья — на Бога.
Сядь. Я забудусь чуть-чуть.
Как же далёк ещё путь...»

Это рождение человека, если хотите, и есть обретение независимости, к которой даже в век свободы стремится далеко не каждый.

— Под то, что названо перестройкой, — говорит Михаил, — было вложено столько надежд и желаний... Сколько было лозунгов, криков о независимости республик, составлявших бывший СССР! После всего того, что они выстрадали, все были достойны этого и получили. Но я не увидел стремления к духовной независимости каждого человека. Пробурчали с тяжелого похмелья «День прощения»... Кто кого простил? Тех, кого не догохали? Кто из страха объявит себя простившим? Перемены метафизичны: одним — вечно мордовать, другим — вечно прощать? Истинных преступников столько же, сколько истинно верующих, остальных создают обстоятельства. Тот, кто получает коротенькие вожжи, чтобы для пользы дела чем-то управлять, тут же стремится въехать в государственную власть и обеспечить этот въезд своим близким. Отсюда — хроническое недоверие к власти...

— Так всё-таки, — спрашиваю я, — остаётся надежда?

— Я не антипатриотист, не антигосударственник, не хочу терять доверие к стране, в которой живу. Я антиидиотист. А пока «обрядили страну в уголовных блатари из кремлевских палат», для меня важнее, кто мать и отец мои, а потом уже государство, диктующее общественный гипноз...

* * *

Сейчас даже смерти печать
Меня не заставит молчать!
Что думаю — выскажу:
Пусть
Узнают меня наизусть.
Чем больше я прошлым горжусь,
Тем меньше для жизни гожусь.
Без малого семьдесят лет
Глядит чёрно-белый сюжет
Без цвета, без форм, без огня
В меня,
Сквозь меня, за меня,
Туда,
Где мой дом средь ракит
На проклятом месте стоит,
Дом-призрак.
И призрак в окно
За мной наблюдает давно.

* * *

Нет, жизнь моя не горький дым.
Я не свожу с тобою счёты.
О чём ты, Родина, о чём ты?
Я жив
И, видит Бог,
Любим.
Могли мы всё пройти вдвоём!
Не по моей вине разлука...
Пришёл,
А в имени твоём
Ни смысла прежнего,
Ни звука.

* * *

Смешалась боль
Святых и подлых.
Не панацея —
Меч и щит.
И то, что в молодости подвиг,
Иначе в зрелости звучит.
Больных идей,
Пустых идиллий
Нет сил осмыслить,
Боже мой!
Куда бы мы ни уходили,
Какой бы бред ни городили,

Придётся двигаться домой.
Ни бег нас не спасёт,
Ни битва,
Ни триединство,
Ни чума.
В себе — алтарь.
В себе — молитва.
В себе —
Свобода
И тюрьма.

* * *

Времена не выбирают?
Бог с тобою, простота.
Миллионы выгорают
Без звезды и без креста.
Потому и выгораем,
Что погибель выбираем.

* * *

Бежал за жизненной красой
По снегу юности босой!
Союз распался.
Я остался
Перед незримой полосой.
Былое соткано из боли,
И дом стоит на минном поле.

* * *

Ты один, я один,
Каждый смертный один!
Вместе — пасынки века.
Я ищу тебя
Средь лиховертных годин,
Где ты,
Сын человека?

* * *

Свобода —
Что она, мой друг?
Когда идёшь по жизни молча,
Плеть формирует
Стайный дух,
Станичная культура волчья:

Советский пепел на кострах
Ещё горячий!
А Россия
Уже внушает древний страх,
Живя предчувствием насилья.

* * *

Свободная рутина.
Засушливый потоп.
Не топлена квартира.
Налоговый гоп-стоп.
Кто грезит о монархе,
Кто жаждет пахана,
Кто в шлюхи,
Кто в монахи —
По швам трещит казна.
Россия. Гололедье.
В сознанье — недород.
Двадцатого столетья
В глазах невпроворот.
А я без клятв, без лести
За краем вижу брод —
Сейчас, на этом месте,
Рождается народ.

Молитвы времени разлома



Такой простор!
Куда от дум уйти?
Гляжу вокруг
С молитвой и обидой:
Россия — птица,
Над землёй обильной
Ослепшая
От поиска пути.

С перевала хорошо видно. Здесь прозрачный горный воздух, далеко просматривается горизонт в обе стороны. На разломе эпох возникали самые значительные произведения мировой культуры.

Мы ещё не знаем, что останется в истории на развалинах социализма, не готовы подвести итоги и выделить главное. Но появление авторов, пытающихся размышлять на этом переломе, знаково.

Очередной свой сборник стихов Михаил Сопин назвал «Молитвы времени разлома». Позднее он скажет: «Я пишу не стихи, а молитвы от имени ушедших и уходящих». Он уже и сам не молод — за шестьдесят, неизлечимо болен... Меняется стихотворный стиль — свойственная раннему периоду цветистость сменяется анализом, краткостью, афористичностью, вот только частушечная лихость порой поэту не изменяет. В стихах «трудно дышать» из-за жёсткости горного воздуха. Возможно, к этому надо привыкнуть.

«Я той стране не свой...»

Да, не свой.

Это он понял ещё в заключении. Но тогда оставалась мечта. Надежда. Будущее пришло и оказалось неизнанным:

Друг стал похожим на врага,
А враг — на друга...
Смятость. Снульсть.
Всё возвратилось в берега.
Всё на круги свои вернулось.

Может быть, это только переходный период? Вот что-то произойдёт, продвинется ещё немного...

Куда спешим? Не знаем...
Потупив в землю взгляд,

Сомнительным сознанием
Гребём вперёд-назад.
Полипы вечной гнили
Юродствуют, грубя:
«Нас предали! Забыли!»
Мы предали себя.

Может быть, это скорее скоропись времени, чем отстранённая — впрочем, вполне достойная — позиция жить своей жизнью, не замечая творимой вокруг мерзости. Больше «газета», чем взгляд в вечное.

Когда-то живший в Крыму во время Октябрьской революции Иван Бунин писал о том, как носит на дачу песок и топит камин. «Окаянные дни» он напишет уже потом, в Париже⁴. А Макс Волошин в том же Крыму не только писал о сегодняшнем дне, но и помогал друзьям, независимо от окраски «лычек» (говорят, его не раз хотели расстрелять то красные, то белые). Разные подходы ко времени и к себе могут быть у поэта. Это его право...

Заслуженная артистка России Н. так однажды образно охарактеризовала впечатление от стихов Михаила Сопина:

— Когда маленький ребенок ступает в холодную воду, ему хочется ножки отдернуть. Но вот он ими немного поболтает, привыкнет... и уже не так страшно. А для здоровья полезно.

Сборник «Молитвы времени разлома» (2000 год) печатается в частном издаельстве за счёт автора в ста экземплярах. Мы раздаём книжки знакомым. Отклик в печати — нулевой, если не считать рецензии Саши Кучер «Книжка для дураков» величиной с пару спичечных коробков (областная газета «Зеркало»): «...Михаил Сопин забивает последний гвоздь в гроб российской дурости. Но вся беда в том, что дураки этого не замечают».

«Концентрация страшная, химически чистая. Сопин верен себе — он, как патологоанатом, исследует современность. И если предыдущая книга «Обугленные веком» пронизана нежностью и прощанием, то в «Молитвах...» автор беспощаден. Веку он вынес приговор, а вот человеку... Человек сам себе вынес:

«Кончается двадцатый век — в крови, в моленях и надеждах. Стереотипен человек и жалок в действиях и одеждах». «Поэзия? Куда такую? С ней больно сердцу и уму. Я ничего не публикую, не нужно это никому», — признаётся Сопин.

От книги холодно. Стужа прозрения сильнее всякой другой.

* * *

Крик взбулгаченных ворон.
Голоса со всех сторон:
«Ты люби, меня, люби,
Луною утомлённая,

⁴ И. А. Бунин «Окаянные дни» начал писать в Москве, с 1918 г., а закончил в Одессе, в 1920 г. В Париже он доработал эти дневниковые записи и опубликовал их в газете «Возрождение» в 1925-1927 годах. (Прим. ред.)

Пока водятся рубли,
Пока шуршат зелёные!»
Частушечки. Гармошечки.
Совхозные хиты.
Зашторены окошечки
С утра до темноты.
Заспано. Затравлено.
Нравы таковы:
Российская окраина
Под боком у Москвы.
Жить, как есть, желанья нет.
Умирать не хочется.
В центр бы выправить билет,
Да столица — склочница:
Склочница-притворщица,
Брешет и не морщится.
Эх ты, Дума моя, Дума,
День ненастен. Ночь темна.
Воровская, мусорская,
Пролетарская страна.
Умным — рюмочка вина.
Вечным нищим — «знаки»...
Выживают сорняки.
Пропадают злаки.
Девки плавают в вине,
На сосках помада.
Бомж повесился в окне,
Очумев от смрада.
Полу-судьи, полу-урки,
В лицах оволнение —
Демонстрируют придурки
Ополчение.
Что там? Кто там?
Ска-ра-бей нич-ком!
Бородой в гранатомёт...
Мир фугасный
Красным веничком
Чистилище метёт.

* * *

Я — зыбкость сугробов,
Накат раскалённой волны.
Я — детская обувь
На мёртвых дорогах войны.
Я — стон измощдённых
В застенках,
В рудничной пыли.
Я — вопль нерождённых
В раздавленном
Чреве Земли.

Тяжелый подземельный
Смрадный запах
Насилия,
Карболки и войны —
Забитые в бегах
И вагонзаках
Мишени без имён
Погребены.
Не надо поздних клятв
И слёз предвзятых.
В покое обречённом
Все равны —
Усопшие
Рабы
Пятидесятых...
Больной,
Блатной
И ссученной страны.

Продудел полководец
В дуду,
Продудел и забыл
Про беду,
Что погостная тёмная птица
На гнездовье
Домой возвратится.
Пораженье. Победа. Война.
Торжествует,
Гордится страна.
Безымянный
В районе Ростова
Плачет дождь
Девяносто шестого...

ПУСТИВ ПО КРУГУ ШКАЛИК... (Оперная ария)

Пустив по кругу шкалик,
Лепил народ божка.
Рождался полукарлик
С ухваткой мужика.
Не чувствуя напасти,
Толпа гудит хмельней.
А карлик — ближе к власти,
А он уже над ней!
Навис над серым роем

И дразнит кумачом.
Назвал народ героем,
А сделал — палачом:
Немым велит молиться,
Слепцам — поклоны класть,
Стреляет пастве в лица,
Отняв у Бога власть.
Чуть зыркнет —
Мы немеем,
Вдыхая страх крутой.
И стал
Народ
Пигмеем
У карлы под пятой.

В КОСМАТЫХ МЫСЛЯХ

Я думаю, далёкий брат...
Не нам одним
Не впрок примеры.
Мы взяли веру напрокат
И стали
Призраками веры.
Бродячий европейский миф!
Я вижу,
С горечью итожа:
Переувечили своих,
А результат победы —
Тот же.
Поминки. Праздник.
Эпатаж
Станичников,
Безродных татей?
В косматых мыслях:
«Отче наш!»,
А на губах —
Полынь проклятий.

В СЕБЕ ПОВЕРЖЕННЫЕ НИЦ...

Любовевождизм
Чеканит наши лица.
Так мало умных и красивых лиц.
Видать, нет сил самоопределиться.
Живём —
В себе поверженные ниц.
Поди, уклад столетий опровергни!
Не изгнан,

Не осужден, не убит,
Живу на взрыве
Двух больных энергий —
Своих страданий
И чужих обид.
Мадам Россия,
Облетают листья?
В глазах твоих откуда эта стынь?
На рынке изнасилованных истин
Горит наследство
Попранных святынь...

* * *

Стране,
В которой жизнь теряет цену,
Всё отдано.
Пуста душа. Готов.
Своё сыграл.
Других прошу на сцену —
В безликий зал
Паяцев и шутов.
Гляжу вокруг:
В речах, в деяньях — серо.
Пока бродил по серости дорог,
Спилась Любовь,
От слёз ослепла Вера,
Надежду сам я выгнал за порог.

МИФ

Всё спуталось:
Погоны, флаги,
Трезвон идей и бубенцов.
Мои распухшие фаланги
Трещат под обувью бойцов.
Жри, миф кровавый,
Что прикупишь!
Тебе, опричный,
Сквозь века
Показывает
Мёртвый кукиш
Моя замёрзшая рука.

* * *

Мы с блеском лжём своей душе,
Больным.
Забытым.

И забитым.
И Апокалипсис уже
Стал повседневным нашим бытом.

* * *

Предпасхальное утро.
Снег.
Апрельская слякоть.
Между Богом и мной
Кто-то стал толмачом.
Не могу я с толпой
Ни смеяться, ни плакать.
Я попозже... Потом,
Когда будет о чём...
И мучитель, и раб,
Сын слепых поколений,
Выйду в чистое поле
В вечерний Четверг.
За слепцов и тупиц
Упаду на колени,
Чтоб Господь
Мою горькую мысль
Не отверг.

На рубеже моём последнем

Я уже писала, что составлять сборники муж так и не научился. К собственным детям-стихам объективным быть не мог. Подборки делались под настроение, а потом обнаруживалось, что главное осталось «за бортом»... Так создавались и «Молитвы времени разлома». Разбираясь в оставшемся, я досадовала. К счастью, в Вологодском отделении Союза писателей России подошла его очередь на брошюру из серии «Вологда — XXI век».

Сборник «Свобода — тягостная ноша» составляла я. Михаил в то время был в больнице и только вёс корректизы. В Союзе писателей с текстами согласились, только заголовок сборника не понравился (слишком публицистично!). Был предложен другой — «Тягостная ноша», но мне он показался безлиkim, да и Михаил не согласился.

— Автор и есть публицист, — сказала я. — У него такое лицо. А «Тягостная ноша»... что-то от такелажа: «Цемент», «Железный поток».

Тираж у этих малоформатных брошюр был приличный — 999 экземпляров, их рассыпали по области, раздавали школьным библиотекам. Резонанс в прессе — нулевой.

...Он давно не выходит из дома. Собрания Союза писателей он и раньше не очень-то жаловал, а тут появилась уважительная причина — болезнь. Он и рад.

Светлым пятном в конце девяностых была наша семейная дружба с врачом детской поликлиники Верой Леонидовной Бузыкаевой. Вера искренне увлеклась творчеством Михаила Николаевича и приобщала других. Часто бывала у нас дома как друг и врач. В ней было особое женское обаяние, за которым, впрочем, ощущался твёрдый, мужской характер. Она замыслила написать о Михаиле художественно-документальную книгу и не только с блеском выполнила задачу, но и издала книгу за счёт своих скромных медицинских заработков с привлечением спонсорских средств. Книга «Нет, жизнь моя не горький дым...» получилась большая, красавая. Но, несмотря на активную Верину пропаганду и положительные отзывы практически всех, кто её прочитал, достойного отклика книга так и не получила, что больно ранило автора.

Почему так вышло? Осмелюсь предположить — по той же причине, почему не нужен был сам Михаил Николаевич. Никому ничего особенно не нужно, если перестаёшь «толкаться и давить». А «толкаться» Вера устала.



...Вспомнилось, как в 70-е годы прошлого века власть посчитала, что Вологде для повышения престижа нужно иметь приручённого писателя-классика. На роль мэтра был приглашён с Урала Виктор Астафьев. Ему дали первоклассную квартиру и подарили мебельный гарнитур. Но Астафьев не оправдал надежд: вёл себя независимо, а потом и вовсе уехал, да ещё и написал по вологодским мотивам сатирическую повесть «Печальный детектив». Это кое-кого обидело («Гарнитур взял, а нас опозорил...», «После знакомства с этим произведением хочется помыть руки»). Когда я рассказала об этом профессору Пермского университета Р. В. Коминой, она за-смеялась: «Писателям дарят не гарнитуры, а понимание».

Миша говорил о коллегах-писателях:

— Я никому ничего не желаю плохого. Но я им — не по зубам.

Болезнь скручивала его. К физическим страданиям добавлялись моральные. Мучаясь от душевной обособленности, всё больше замыкался в себе.

КРЕСТ

Жизнь вечна
В мечтах дурака:
Признанье,
Раденье о благе...
Спокойно выводит рука
Раздумья мои на бумаге.
Мелеет надежды река.
Тень в чёрном,
Российские дороги...
Выводит рука старика
Знак Плюс
На вчерашней дороге.

* * *

Страхись безликой тишины,
Когда в безумной круговерти
И жизнь, и смерть
Обобщены
В таинственное жизнесмертье,
Где по команде слёзы лют
И выше смысла ставят фразу,
И любят нищие салют,
И умирают по приказу.

НЕИЗБЕЖНОСТЬ

Вере Бузыкаевой

Ты задай мне вопрос,
Не отвечу —
Задай его снова.
Может, вместе найдём —

Как с собой примирить это слово:
Превратиться в пыльцу,
Стать ничем
Под дождями, снегами.
Безразличное время
По лицам пройдёт сапогами.
Как осмыслить ничто:
Беззащитность,
Бесправье,
Безгласье...
И при жизни ещё
Отыскать с неизбежным согласье.

* * *

Никого я в друзья не зову.
Ни пастух мне не нужен,
Ни стадо.
Други, недруги —
Сон наяву.
Сновидений мне больше не надо.
Оскудев, разбежались друзья.
И петляет ещё в поле голом
Беспримальная стёжка моя
Меж свободою
И произволом.

* * *

Однажды в августе,
В больнице
Я побывал в предсмертной мгле.
Когда-то это повторится —
Меня не станет на земле.
Как я прожил все годы эти?
Без политических горилл
Я сам себя на белом свете
Усердьем каторжным творил.
Поэт — глашатай высшей воли.
Всё, что вверялось лично мне,
Я говорил по доброй воле
Глухой,
Бесчувственной стране.

* * *

Я знаю
Кровь и смерть войны,
Колосья,
Тучные от праха,

Глаза казнённых без вины,
Психоз бесправия
И страха.
Так уж ведётся на Руси...
У самого себя спроси
За тесноту,
За нищету,
За немоту,
За темноту,
За политический разбой,
За всех,
Гонимых на убой.
И никаких гарантий нет,
Что мы не повторим тех лет.

* * *

Было стыло. Стало пусто.
Нищий верит. Умный пьёт.
Ритуальное искусство —
Пляска в прорву, в гололёд.
Обручённые с бесплодьем,
Скрыв трагедию под фарс,
Мы от прошлого уходим,
А грядущее — от нас.

* * *

За всё, что выстрадал когда-то,
За всё, чего понять не мог,
Две тени —
Зека и солдата —
За мной шагают
Вдоль дорог.
После боёв
Святых и правых
Молитву позднюю творю:
Следы моих сапог кровавых
Видны —
Носками к алтарю.
Есть в запоздалом разговоре,
Есть смысл:
За каждый век и год,
Пока не выкричится в горе,
Пока не выплачется в горе,
Любя, душа не запоёт.

(Из сборника «Свобода — тягостная ноша»)

Четверостишия

В прозаической миниатюре «Еретикон» критик Сергей Фаустов назвал Сопина японским поэтом, аргументировав цветисто: «Я мечтаю его стихи читать на японском языке — написанные иероглифами. Иероглифы изображают разорванную колючую проволоку империи гостепримства и лжи. Они изображают колючую проволоку человеческой глупости. Стихи Сопина разрывают колючую проволоку несвободы, поэтому они должны быть написаны иероглифами! Я это утверждаю с восклицательным знаком».

Вряд ли японец согласился бы с таким одиозным толкованием своего исторического письма, но по краткости и афористичности некоторые стихи Михаила действительно приближаются к китайско-японским формам хайку или танка.

Некоторые из них возникали как четверостишия сразу. Привычная картина: Миша ходит по комнате взад-вперёд, рифмует и вдруг выдаёт нечто, что немедленно надо записать. Нередко просит сделать это меня, чтобы не искать очки. Предлагается вариант. Этот процесс может растягиваться на месяцы и годы, двигаясь как в лучшую, так и в худшую сторону. Наши мнения расходятся, мы начинаем спорить, даже ссориться... Сходимся на компромиссе: «Пусть полежит».

Другие четверостишия представляют собой концовки стихов с «разгонным» началом, которое впоследствии урезалось самим автором. Наконец, некоторые мини-стихи возникают в памяти из утерянного. Возможно, это не самый плохой путь отбора: повторяли часто, вот и запомнили.

Россия, властная держава!
В эпоху чёрного крыла
Твоя незыблемая слава
Моей трагедией была.

Мои глаза — как два провала
На поле снежной целины
Глядят сквозь века покрывало
Из затаённой глубины.

Далёкая луна по травополью.
Иду сторонкой от грызни земной.
И боль моя становится не болью,
А частью жизни, сросшейся со мной.

* * *

Я видел жизнь
Без войн, без зон, без плача...
Мне снился сон.
А наяву — иначе.

* * *

Есть свет в осмысленной беде!
Нет смысла — с вымыслом бороться.
Я знаю: никогда, нигде
При жизни жизнь не удаётся.

* * *

С тех пор, как был распят Христос,
Войной шла милость на немилость.
Так много крови пролилось,
Чтоб ничего не изменилось.

* * *

Мне страна подарила
Стальной, не терновый венок.
Я за несколько лет
Стал на десять веков одинок.

* * *

Чужое — деспотии запах стойкий:
Бесправие. Героика. Попойки.
Своё — случайной жалости словцо
И Памяти разбитое лицо.

* * *

Молитвы. Плач. Песни и пляски.
И в этом зверином лесу
Себя в инвалидной коляске
Я в «светлое завтра» везу.

* * *

Россия. Снега. Занавески.
Дорога безлюдна, пуста.
Но гордо мычат по-советски
Зашитые болью уста.

* * *

Несёт по жизни человек
Глаза и ордена
И говорит: «Двадцатый век...»
А слышится — война.

* * *

Упłyвают любимые лица
В мельтешении слов-небылиц.
А потом будет память клубиться.
А потом — ни улыбок, ни лиц.

* * *

Если гордость наша — пыль парада,
А плоды Победы — дым в горсти,
С нами происходит то, что надо,
Что не может не произойти.

* * *

Переход затменья в темнолунье.
Ни фонарика, ни бубенца.
Убивающее «накануне»
Над Россией длится без конца.

* * *

Шёл в коммуну паровоз.
Оказалось — мимо.
Утонул в потоке слёз,
Ни огня, ни дыма.

* * *

Пафос, запёкшийся болью
В светлых зрачках дурака.
Строят невольники волю
Не на года, на века...

* * *

Горбя до треска сухожилий
За пайку, водку и пшено,
Вы митингуете, как жили —
Тогда, когда разрешено.

Эпоха следствий и причин —
Исконно наше постоянство.
Средь переменных величин
Незыблемы война и пьянство.

Я тону в людской словесной ржави:
Не кочевник и не вечный жид.
Жизнь моя принадлежит державе.
Смерть моя принадлежит державе.
Что же лично мне принадлежит?

Стынет мысль. Угасают лета.
К этим дням не теряй снисхожденья!
Может, вера твоя — слепота?
Может, правда твоя — клевета?
А сужденья твои — заблужденья?

Над весной моей — белым-бело.
По былому — снега намело.
Давняя обида и беда —
Со стекла оконного вода.

Тихо-тихо-тихо
Облетает снег
Нынешнего лиха
В мой вчерашний смех...

Мир проигрывает раунд.
Хлеб золой боёв пропах.
Мои мысли отмирают.
Мои просьбы догорают
На обугленных губах.

На дальний свет, сквозь наледь окон...

Всё началось буднично: мы купили компьютер. Пришла вологодская писательница Галина Щекина, пощёлкала клавишами:

— Стихи можно ставить здесь. На сайте «Стихи.Ру» регистрируют всех. Так началась новая жизнь.

Это было в январе 2003 года.

Про этот невероятно разбухший, расхристанный, неопрятный, немногого хулиганствующий сайт, где могут «отправить в обеденное блюдо» и неожиданно тепло поддержать, говорят разное. Но именно здесь Михаил нашёл то, чего не имел никогда — свободный выход к массовому читателю. Признаюсь: нечистот, которые порой появлялись возле наших имён, мы не читали. А на отношения с близкими по духу это не влияло.

У нас появились друзья в разных странах. Михаил заинтересованно читал чужие стихи, писал комментарии. Было приятно ощущать, что к его словам прислушиваются.

Аудитория большей частью молодая, и с нею Михаил молодел. Он стал возвращаться к своим ранним неопубликованным стихам, кое-что дорабатывал. Прислушивался к замечаниям, даже если был с ними не согласен. Вживался в это состояние подъёма... Удивительно, но даже физически он, неизлечимо больной, стал себя чувствовать лучше! Мы завели блокнот для афоризмов, на которые Михаил всегда был мастаком, а тут они пошли щедро. Частично использовали их в рецензиях.

А иногда брошенную собеседником мысль хотелось развить, как получилось, например, с Евгением Е., который сетовал, что его поэтический мир не обогащается.

«Не могу согласиться, — писал Михаил, — с тем, Евгений, что обогащать его надо искусственно. Когда-то один поэт заметил: «Вам хорошо, Михаил Николаевич, вы сидели...» (!) — имеется в виду, что есть своя тема. Но если идти по этому пути: тот не сидел, другой не воевал, третий не расстреливал, десятый не лгал, какой-то там говорил только правду... Сварганился из этого такая кутья, что получишь хлёбово ядовитое, от последствий которого враз не избавишься.

Основной признак поэзии? Она обладает лечебными качествами. Сказал — избыл внутренний груз. Потому что в начале было не слово, а предисловие. Стон боли, стон голода, холода, общения, попытка осмыслить себя — главная наука о человеке. А слово — потом.

У тебя есть выражение: «Поэт-затворник обречён перепевать свою законсер-



вированную душу...». Не перепевать, Евгений, а РАСПЕВАТЬ. Это разные вещи. Даже «Отче наш», когда эту молитву шепчешь, зная, что ни Богом, ни в храме, ни в райкоме она не будет услышана и востребована, может взорвать человека изнутри. Такие вот дела.

Мир гораздо звероподобнее, отвратительнее и прекраснее, если его не сочинять, а попытаться понять. Поэт необходим, иначе политико-партийная шизофрения закусит нами на банкете в честь победы безумия над разумом».

Так была зафиксирована на бумаге концепция собственного творчества. А раньше этим заняться вроде не было повода...

Однажды, когда мы попали в типичную скандальную переделку, нам стали звонить по телефону из разных стран (США, Израиль...) со словами поддержки. Вот этого ощущения востребованности Михаилу не хватало всю жизнь!

Потребность рассказывать о поэте и судьбе стихов я стала реализовывать на «Сакан-сайте», где писатель Сергей Саканский любезно позволил мне открыть «Дневник писателя». Потом эти материалы легли в основу повести «Вызов судьбе» («Одна из звёзд в печальном русском небе...»). Анастасия Доронина помогла Михаилу зарегистрироваться на «Поэзии.Ру», где его встретили очень приветливо.

Самой большой радостью для Миши в больнице были вести из Интернета, хорошие стихи:

«Ты сказал намного больше, чем написал, я это чувствую. Наверное, каждый нищий был бы польщён таким отношением... Живём на одной земле, одними радостями и печалями, и просто обречены на то, чтобы слышать друг друга» — Михаилу Берковичу.

«Лёня! Обнимаю молча. Пусть лучше перекрывает кадык, чем мозги...» — Леониду Марголису.

«Человек в застёгнутом состоянии, а хочется сразу большого. А если его положили, как одуванчик, на ладонь, и показали миру, — зазвучит мировая симфония» — Иосифу Письменному.

У Варлама Шаламова есть рассказ о последних минутах поэта (считается, Мандельштама) в лагерном бараке. Ему чудятся идущие стройными рядами строки Большой Поэзии, и всё остальное в мире становится неважным. Меня не оставляет мысль, что подобное ощущение испытывал Михаил, когда писал вот эти строки:

«Большая поэзия — это гигантский планетный музыкально-литературный смысловой оркестр, и в нём закономерностей больше, чем случайностей. Если одна творческая мысль затронет струну другой — они зазвучат. Они будут играть Поэзию. Начинается сыгровка оркестра».

Но есть важное отличие. Если поэт «по Шаламову» слушал поэзию в одиночестве, знал эту обречённость и даже не тяготился этим, то Сопин как бы видит себя в огромном концертном зале, где каждый — и исполнитель, и слушатель:

«Поразительно то, что бывает очень-очень редко... Не успеешь сделать инструментовку, а уже услышан! И хочется заорать, изобразить на своей харе НЕЧТО... Больше радости или печали? И с высоты такого понимания хотелось бы встретиться и больше не разлучаться».

За три дня до смерти он передал мне обрывок бумаги со словами прощания, который велел поместить в Интернете:

«ВСЕМ

Приближаясь к концу жизненного пути, благодаря мировую мысль (компьютер) и Родину — компьютеризация обеспечила мне возможность встретиться с мировоззренчески близкими мне друзьями (выйти из глухой блокады неизвестности), а государство терпело, не добило меня раньше времени. Михаил Сопин».

ПОЭЗИЯ

В ней век и год,
И тьма, и свет,
Бесследие и след,
В котором правды горней нет
И лжи народной нет.
Есть мысль.
Есть дикость от ума —
Кровь междуусобных драк.
Есть лжесвобода и тюрьма,
И церковь, и бардак.
Сама принадлежит земле
И всё должна вмешать.
Она — на избранном челе
Господняя печать.

* * *

Кто мы?
Извечнейший вопрос.
Все под Законом
Тайным самим:
Скопленье одиноких звёзд,
Беззвучно падающих в саван.
Вот почему душа в ночи
На дальний свет,
Сквозь наледь окон
Прощально так
Другой кричит,
Другой,
Такой же одинокой!
Свой знаменуя перелёт
Над монолитом светотьмищи,
Поёт она —
Она поёт
Для очарованных и нищих.

ЛИРА

Свободная лира,
Буди, будоражь, не разбейся.
Не время. Повсюду
Казёнщина, чванство и спесь.
У каждого века
Свой голос, свой лик, своя песня,
И в каждом грядущем
Свои невозможности есть.
Отцы — атеисты.
А деды молились иконе
И царскую дули,
И пели вовсю в кабаках.
У нас преимущество:
Недругу лиха не помни!
Автографы века стального
На наших боках.
Плачь, узница-лира,
О Родине,
Павшей и падшей,
О вольных-невольных,
Что жили, цепями звена.
Гори,
Моя лира степная,
На совести нашей
Ты искрою
Будешь светить
После Судного дня.

МОЛЮСЬ НА КОЛЕНЯХ В ПЫЛИ

Кто сказал, что не чувствуют птицы?
Кто сказал,
Что не плачет трава?
И душа,
Перед тем, как разбиться,
Высочайшей печалью жива:
К маяку, к тростнику у болотца,
К тополям, что вросли в хутора,
Ко всему, что ещё остаётся,
Ко всему, с чем прощаться пора...
Поглядишь на врага как на брата!
Чуя сердцем непрочную нить —
Как же так,
Уходить без возврата,
Как же так,
Чтоб не стать,
Чтоб не быть?

Тяжко, душно —
Вон месяц над чащей!
И молюсь на коленях, в пыли —
Будто мне
По ошибке дичайшей
Приговор
Безнадёжный
Прочли.

* * *

K...

О разлуке не надо,
Родимая, помни о встрече:
О совместном о нашем,
Предельно коротком пути,
И о страшной беде,
Что легла чёрной вы沟ой на плечи,
От которой уже
Нам с тобой до конца не уйти.
Думай, друг мой, о встрече,
Её беспокойном начале.
Помнишь, шли мы с тобой
Сквозь метельный
Невольничий свей!
От меня ты тогда
Увезла половину печали
И оставила мне
Половину надежды своей.
И остались мы оба,
Чтоб легче нести свои муки.
Помнишь, я говорил,
Что бессмертие —
Голоса звук!
Во Вселенной в веках
Сохраняются слов наших звуки.
Наша встреча свершилась,
А вечность не знает разлук.

* * *

Родимая, что нам осталось?
Висков круглое серебро,
Неизречённая усталость
И недобитое добро.
И прежде, чем уйдем мы оба,
Я в остывающем дому
За несвершившуюся злобу
Стакан гранёный подниму.

В каком это будет году?
 Буранами,
 Яровью ль синей
 Я прежней Россией пройду,
 Представ перед новой Россией.
 Упрёка не выскажу я,
 Свободный от плёток,
 От клеток.
 Я клял тебя —
 Раб пятилеток.
 Я был им.
 И жил не живя.
 Привет тебе, век, исполать,
 Приветь меня, вечного мима!
 О чём же мечтать, что желать? —
 Всё мимо:
 Ни дома, ни дыма.
 Бог с ним, двум смертям не бывать.
 Успеть бы к родимой купели.
 Не стоит меня отпевать.
 Ещё в колыбели отпели.
 Дождями прибьёт лебеду.
 Домой,
 Через степь,
 По туману
 В простор на закат я пойду
 И степью туманною стану.

Счастье и смерть

Миша умер 11 мая 2004 года в половине одиннадцатого вечера. За три дня до этого сказал:

— Не хотел тебя пугать...

Помолчал, потом всё-таки продолжил:

— Сегодня ночью мне привиделась собственная смерть. Разрытая земля.

— Брось, — сказала я. — Тебе было плохо и думал об этом. Вспомни — сколько раз ты уже собирался умирать, но обходилось.

Это было правдой, но в последние месяцы тяжёлые мысли слишком приближались к реальности. Однако Миша очень хотел ещё немного пожить. Мы сходили в стоматологический кабинет и подготовили зубы к протезированию. Залечил язву желудка. Готовился «довести до ума» сборник «Молитвы времени разлома», как это уже было сделано с «Обугленными веком». Я купила ему новые кожаные ботинки — гулять, как мы это делали минувшим летом, обсуждая главы совместной работы над «Судьбой поэта».

Впоследствии лечащий врач скажет:

— Я думал, он лето ещё проживет, а уж будущую зиму — вряд ли.

Но до лета он не дотянул.

Катастрофа случилась, когда Миша по своей беспечности, удивительной в его возрасте и при таком наборе болезней, пошёл из больничной палаты ночью в общественный туалет в одной рубахе. Апрельское похолодание сопровождалось ветром и снегом, снег несло в раскрытое окно... Простуда сразу перешла в воспаление лёгких.

Его ещё пытались спасти. Врач доставал через руководство больницы дорогие препараты. Две недели я ночевала у него в двухместной палате, на вторую койку никого не помещали. После мучительной шестичасовой капельницы начали отекать ноги. Я купила ему растягивающиеся шлёпанцы (на «залипах»), чтобы можно было делать изменения по объёму ног. Однажды врач с удивлением констатировал, что Михаил из кризиса, кажется, выбрался: такой крепости организма врач, похоже, сам не ожидал.

...По телевизору транслировали празднование Дня Победы. Ещё вечером девятого мая мы с Михаилом обсуждали электронную почту и стихи с сайта «Стихи.Ру», я записывала ответы авторам. А десятого утром он позвонил по мобильнику:

— Приезжай, мне плохо.

Дальше были двое суток кошмара. Я снова ночевала у него, но сна не было обоим... Никто не мог определить причины тяжёлого состояния. Вызывали хирурга. Сделали рентген, проверили язву, сердце, лёгкие, желу-



док — всё в пределах «возрастной нормы». А между тем боли шли по нарастающей. Он почти всё время стонал или кричал. Вот также описывалась смерть Блока... К вечеру 11 мая я пришла к нему с ночёвкой, но соседнюю койку занимал новый пациент. Это было для меня некоторой неожиданностью, да и для соседа, надо думать, присутствие в палате чужой женщины в ночное время составляло неудобство. Медсестра Галя сказала, что мне сейчас лучше уйти («Сделали хороший болеутоляющий укол, и теперь он будет спать, я дежурю и прослежу»). Прийти посоветовала утром.

Однако укол не подействовал. Боли усиливались. Муж просил то приподнять его, то опустить, то помочь повернуться на бок... От незажатой во время вены рубашка стала кроваво-мокрой, я просила Мишу приподняться на локтях, чтобы её вытащить, но он уже не мог, а у меня не было сил. Я гладила его по незакрытым местам тела, ему это нравилось и немного успокаивало, только просил не касаться области воспалённого солнечного сплетения. Внезапно я ощутила, что опухшие ноги холодеют (не прокачивает сердце!), но ничего ему не сказала...

Для врачебного персонала Сопин был не рядовой больной. Врачи приходили к нему не только как к пациенту, но и как к интересному собеседнику. Видели, что он здесь не просто лечится, но работает (всегда обложен рукописями). Особенно часто заходил лучший вологодский кардиолог Виктор Александрович Ухов. Помню, как он однажды насмешил нас, сказав:

— Я, Михаил Николаевич, знаете, как Вас уважаю! У меня первым очень знаменитым пациентом был Виктор Астафьев, я тогда ещё совсем молодым был. А теперь вот Вы. Вы для меня... прямо как Маяковский.

Маленький чёрно-белый телевизор Ухова постоянно «дежурил» в Мшиной палате, а гастроэнтеролог приносила редкие книги и магнитофонные записи.

Но вечером 11 мая никого из них здесь не было.

...В реанимацию меня не допустили. Я спросила Галю, что теперь будет.

— Дадут сильный наркотик, чтобы снять боли, и этим окончательно посадят сердце.

Потом рассудила, что раз уж в реанимацию взяли, до утра всё равно не выпустят, да и в последующие два-три дня тоже. Лучше мне сейчас уйти, а утром позвонить.

Я пришла домой и позвонила Пете в Петербург:

— Сегодня ночью папа, наверное, умрет.

Но он умер не ночью... через пять-семь минут после того, как мы расстались. В это время я ещё не покинула больницу.

На похоронах я сказала:

— У Михаила была тяжёлая жизнь, и всё-таки он был счастливым человеком. Он говорил: «Сколько ребят на Украине и Белгородчине погибло от голода и болезней в тридцатые, а я выжил. Потом — война, бои, бомбы... Сотни тысяч полегли, а я жив. Дальше — лагеря. Люди умирали не только от голода, работы и расстрелов: спивались, уходили в наркоту, вешались... Это продолжалось с ними и по выходе на свободу. Их целенаправленно уничтожали, физически и морально, а я всё жив. И не просто жив! Успел сказать Слово от имени этого поколения. Имею семью, замечательных сыновей, издаю стихи, принят в Союз писателей. Благодаря Интернету меня узнали в мире...».

...Он трудно умирал, но был не один. С ним были врачи, и я его не оставляла.

Памяти Михаила Сопина посвятили страницы крупнейшие вологодские газеты. В одной из них опубликована статья Михаила Берковича из Ашкелона «Чему учит поэзия?» Но мне кажется, это только начало. Его творчество нуждается в серьёзном изучении.

ИЗ ПОСЛЕДНИХ СТИХОВ, ОПУБЛИКОВАННЫХ НА САЙТЕ «СТИХИ.РУ»

Снимали в профиль и анфас
Радетели родной сторонки
И обеспечили для нас
Ещё при жизни похоронки.
Сравнив, кто я и кто они,
Отвечу строчкой многоточий:
То ночи белые, как дни,
То дни бездоннее, чем ночи...
Нет безболезненных потерь,
А жизнь — властительная сводня.
Моя надежда — цепь потерь.
Твоя — как выглядит сегодня?
Взгляну на жизнь со всех сторон:
В каком-то смысле — все мы ровня.
Но, веря мудрости ворон,
Себе возьму беловоронье.
Чего хочу — то будет пусты.
Кто я на свете
И зачем я?
И отрекаясь — отрекусь
От собственного отреченья.

ВЕЧЕРНЯЯ СВЕЧА

За мной — стена.
Передо мной — стена.
Душа от скверны освобождена.
От зависти,
Неправых слов сплеча.
Так много мы вокруг не замечали!
Теперь их нет.
Остался ровный свет —
Горит судьбы вечерняя свеча.
Глядят во пламя
Два зрачка печали.

И голова моя от дум седа,
От светлых дум...
Судьбу свою итожа,
Я счастлив тем,
Что выпало мне всё же
Покаяться
До Страшного суда.

ПРОШУ

1.

Дышит надсаженно лира,
Смотрит, не видя, вперёд.
Мне
Из погибшего
Мира
Память
Уйти
Не даёт.

2.

Прошу об одном лишь:
Пусть будет не поздней расплата
За слово, за немость,
За помысел тайный, за стих.
Избавь от победы,
От зависти, славы, от злата.
Пошли мне прозренье —
Прозренье до действий моих.

КОРАБЛИ СОЧИНЁННОГО СЧАСТЬЯ

*Моим любимым собратьям
и сестрёнкам по сайту «Стихи.Ру»*

Я застыл
На черте переходной,
Посылая молитвы в зе́нит:
Мир — стихия,
А мы — пароходы.
Каждый сущий в себе знаменит!
По Завету,
По злому навету
Скоросменной политчепухи
Мы развозим по белому свету
Островками
Не наши грехи.

Предпосылка, закон сопричастья?
Неразгаданность света и тьмы.
Корабли сочинённого счастья,
В тёмный порт возвращаемся мы.

* * *

Кому — финал,
Кому — дебют.
И только мне стезя иная:
Я не издохну как-нибудь,
Добьют любви воспоминанья.

* * *

Своим,
Живым,
Земным поющим братьям
Я улыбнусь
Незрячей болью слёз.

ДВА ЖЁЛТЕНЬКИХ КОРАБЛИКА

Доверчивая, чуткая, любимая,
С глазами —
Цвета неувядших ив!
Подумать страшно —
Мог бы, мог бы мимо я
Пройти,
Твоей души не оценив.
Судьба моя,
Причальная излучина,
По милости властительных невежд
Так много
В моей жизни взбаламучено,
Так много в ней
Загублено надежд.
Тепло моё,
Святого света капелька,
Дороги наши сожжены не все!
Плынут два наших
Жёлтеньких кораблика,
Качаясь
В предзакатной полосе.

ТАК СТРАННО...

Так странно:
Однажды
Исчезнут мой разум и тело,
Подвластны законам,
Единым для звёзд и песчин,
И я не услышу,
Что рядышком ты пролетела,
Частичку меня
Окликая
В бездонной
Бессмертной
Ночи...

* * *

7.

Так куролесит,
Так выюжит —
Столбушки снежные,
Колодцы!
Теперь бы только жить да жить,
Да времени не остаётся.
Моей усталой жизни чёлн
Уносит к краю водопада.
Не говори мне ни о чём,
Не утешай, прошу, не надо.
Почти что свёрстаны дела.
Лета разлуку прокричали.
Я не хочу, чтоб ты была
Последней пристанью печали.
Живи.
Тепло души храни
И знай, что, уходя в дорогу,
Я пережил
Святые дни
Благодаря
Тебе
И Богу.

* * *

Однажды
Не взойдёт звезда
Вечерового небосклона.
Не вместе
Крикнут поезда
И замолчат разъединённо.

И незаметно ты пройдёшь —
Печалью глаз по заоконью.
И твой уход
В осенний дождь
Благословлю.
И не запомню.

* * *

Позывные мои —
Бесконечно благодарю!
Ты молитвы мои
Допусти к твоему алтарю.
Обними —
Можно мысленно...
Не отторгай, что я делаю.
Подложи мне ладони
Под усталую голову белую.
(Это стихотворение было найдено мною
на полях газеты через месяц
после смерти автора).

ЧЕРЕЗ СТОЛЕТИЕ

Я не знаю,
Поют ли теперь
Перепёлки во ржи —
Когда можно, как в воду,
Войти в знойный запах над рожью!
Пусть никто обо мне
Никогда не услышит:
«Он жил...»
Я хожу и сейчас
Под дождями
Тайгой, бездорожьем.
Пропадаю в туманах
И лугом дышу голубым,
И полянью,
И запахом
Яблонь и вишень!..
В это трудно поверить —
Как был я богат,
Как любим!
Всё вошло в моё сердце,
Всё помню,
Всё вижу, всё слышу.
Я приветствую жизнь:
Лошадей
И луга,

И луну,
Голоса поездов,
Пассажиров,
Названия станций.
И в рассветы столетий
Входя,
С головой утону,
Чтоб душою и сердцем
Остаться,
Остаться,
Остаться.
Вы летите, летите
К желанной
Далёкой звезде!
Я останусь навек —
Там, где детство,
Как привкус от вишен!
Где любая изба
Проскрипит вам:
«Он только что вышел».
Журавлей над Россией
Спросите —
Ответят:
«Он здесь».

Заключение

Это эссе-размышление создавалось летом 2003 года, последнюю главу я дописала в мае 2004 года. Сейчас, когда Михаила нет в живых, и я изучаю его архивы всё глубже, думаю, что кое-что осветила бы по-другому. Но... это наш совместный труд, он был прочитан и поправлен с учётом пожеланий поэта. Миша искренне радовался тому, что благодаря этим записям его творчество будет понято глубже. А если у меня или кого-то другого появятся новые размышления, толкования и наблюдения, — это будет уже другая книга.

ИЗ СБОРНИКОВ РАЗНЫХ ЛЕТ

.....
Поэзия
Михаила Сопина
.....

Малышка-воин

Когда началась война, Михаилу Сопину было десять лет.

Вот как он это вспоминает:

«Мы не успели эвакуироваться, помню, собирались ехать в каком-то эшелоне, а в тылу нашем уже были немцы. Бежали из-под Харькова, в одной массе — солдаты, дети, старики, женщины... Это был какой-то бег исхода. Если бы нас остановили, мы, наверное, умерли бы на месте. До сих пор не верю, что выжил... Немцы нас нагнали. Разорванные, раздавленные дети, их утюжили танками. Меня ранило осколком в череп, спас какой-то военный — замотал голову тряпкой и пихнул в районе Богодухова в товарный вагон, я там валялся на опилках, весь в крови. Растолкала старушка, снова мы куда-то шли. Снова я в скоплении народа. Помню, упёрлись в реку: горел мост, и солдаты наспех сколачивали плоты. На них люди прыгали вместе с детьми, плоты переворачивались. И всё это под бомбёжкой...»

Детей (Мишку, маленького братишку Толика и старшую сестру Катю) переправляют к бабушке в деревню, на Белгородчину, но война настигает и тут:

«У нас во дворе частями Красной Армии были прорыты профильные окопы, потом брошены. Окопы ошибочно выкопали за избой, и дом таким образом оказался на линии огня. Начались тяжелейшие бои. Однажды во двор заскочили двое молоденьких солдатиков и прямо перед окнами стали устанавливать пулемёт, но никак не могли его заправить. Бабушка выскочила с поленом: «Куда ставите, сейчас начнут бить по хате, а здесь дети малые!». Велела тащить пулемёт на угол двора и там сама заправила пулемётную ленту.

Когда начинались налёты, мы с Катериной бежали прятаться в подгреб. Бомбёжки продолжались по трое-четверо суток... Я был в зачумлённом состоянии. Когда сутками напролёт бомбят, перестаёшь испытывать страх за жизнь — безразличие полное. В таком состоянии солдаты, измотанные, спят прямо в окопах. Сейчас это совершенно не может быть понято... Скорее бы бомба попала, кончились муки.

Как сейчас вижу солдатика с оторванной рукой: он сидел, привалившись к нашей избе, обнял уцелевшей рукой остатки пустого рукава и раскачивался из стороны в сторону...»

В марте сорок третьего, в результате неудачной операции советского командования по освобождению Харькова, сразу три армии попали в «котёл»: не считая погибших, триста шестьдесят тысяч солдат и офицеров



оказались в окружении (выживших потом назовут предателями Родины). Немцы были не готовы к приёму пленных в таком количестве. Их сгоняли в поле на участки, огороженные колючей проволокой, не кормили и не поили, а пытавшихся приблизиться местных жителей расстреливали. Стопроцентная смертность, тысячи больных тифом... В конце войны даже немецкий генерал Розенберг ужасался этой советской катастрофе.

Но некоторым окружёнцам удавалось избежать плена, и они небольшими группами, в одиночку, с помощью местных жителей пробивались к своим.

Однажды в хату Сопиных постучались двое лётчиков, вероятно, за самым простым: поесть, напиться. Бабушка Наталья Степановна подозвала одиннадцатилетнего Мишку и велела ему вывести этих людей. Сызмальства облизившие окрестности и прекрасно в них ориентирующиеся мальчишки действительно были лучшими проводниками.

...Он их выводит, наступает расставание. Со словами благодарности лётчик снимает со своей груди орден Красной Звезды: «Носи, сынок, ты заслужил». Можно представить, что значила для пацана такая оценка!

Таких орденов у него было два. В начале совместной жизни я сказала: «У тебя документы есть? Нет? Ну и не говори никому». Он и сам это понимал. Чем становился старше, тем возвращался к теме неохотнее...

Наверное, я не стала бы об этом вспоминать вообще, если бы муж перед смертью не захотел сказать сам для радиозаписи. К нам домой пришла девушка из областного радиокомитета. Михаил догадывался, что запись последняя, и не ошибся. Сказал: «Пусть микрофон слушает». Разумеется, в эфир не прошло, но запись сохранилась.

Пятого июля сорок третьего в тех местах началось величайшее в истории Второй мировой войны сражение — Курская битва. Вместе с бабушкой и другими сельчанами Мишка вытаскивал раненых с поля боя. Погиб братишка Толик. Михаил переболел тифом. Ушёл из дома, скитался по военным дорогам, и, как записано в предисловии к сборнику стихов «Свобода — тягостная ноша» (Вологда, 2002 год), «периодически находился в действующих войсках Советской Армии, принимал участие в боях армии генерала Москаленко». Война закончилась для четырнадцатилетнего подростка в танковых частях в Потсдаме.

Мальчишкой присягнув на верность армии именно тогда, когда ей было труднее всего, поэт до конца жизни не изменил позиции:

«Моя армия — это армия 1941 года — начала 42-го. Ещё ближе скажу: моя армия — отступавшая. Удивительно, я так устроен: болею за команду, которая проигрывает. Они ближе, понятней...».

ИРИНЕ

В сорок первый,
Весел, шумен,
Я качусь,
На зависть всем,
В двадцать первое июня
На трамвайной «колбасе».
Громыхают перекрёстки!
Контролёры не журят...

Гладит ветер
На матроске
Золотые якоря!
И глядят в меня игриво,
Улыбаясь вдрабадан,
Непогибшая Ирина,
Негорящие года.

* * *

О чём я думаю,
О чём?
Что вот сейчас,
Ломая тени,
Ракета вырвётся свечой,
И грохнет взорванная темень!
И в крик мятущихся людей,
И в рёв пылающего зверя
Окаменело мне глядеть,
Иной реальности не веря.
Туда, в пороховую ярь,
Через поля и буераки
Уходит молодость моя
С душой,
Намотанной на траки.
Я не оправился от ран.
И нету места мне в грядущем.
Ищу среди ветров и трав
Непохороненную душу.

* * *

Не виноват, что нет тебя,
Моё родное захолустье.
Ты помнишь, я из тех ребят,
О ком темнело небо грустью.
Ты помнишь — плачущих навзрыд!
Пришла беда — ворота настежь.
Я шёл в ненастья той поры,
Когда страна была в ненастье
С коротким именем —
Война.
И я —
Под бомбами,
За мамой
Кричал в пространство:
«Отче наш!»
Но Отче
Изгнан был из храма.
Ползли нерусские кресты.

Глотали танки жизнь и вёрсты...
И потому меня прости,
Когда завидовал я мёртвым.
Когда, казалось, сокрушён
Несокрушимый дух России —
Я припадал к земле душой
И болью,
Вечно негасимой.

БЕЖЕНЦЫ

Деревья
Ветры обмели.
Машинам мокрым голосуя,
Застыли одиночки лип.
Дожди плетутся в даль косую.
Я помню —
Вот такой же день,
Тянулись беженцев обозы
Через разъезженную озимь
В тревогу мокрых деревень.
Под этим небом,
В этом поле
Кому кричать?!
Мы все равны,
Единые судьбой и болью.
Уже кочует полстраны.
И где конец,
И где тепло —
Ответа нет.
Одни вопросы...
И нас уносит под уклон,
Как эшелон
Без паровоза.

* * *

Лунно. П полночь. Луга.
Дремлют кони.
Костерок дымовой на лугу...
Так хочу
Это видеть и помнить,
И, прощаясь,
Забыть не могу.
Только взглядом молю, призывая,
Чтобы крик не вспугнул:
«Где же ты?!»
Но в пыли и в дыму Лозовая.
И себя не узнать сквозь бинты.

Подмените меня, замените!
Поезда на горящих путях.
В поднебесье
Разрывы зениток —
Словно белые шапки летят.
Жгут стопы
Раскалённые сходни.
Дальше — поздно.
За насыпью — пост.
И горит меж былым и сегодня
Перебитыми крыльями
Мост.

* * *

Мне шёл одиннадцатый год,
И не моя вина,
Что не дошёл он — что его
Оборвала война.
Слепой, истошный вопль в овсе —
Шли танки с трёх сторон,
Давили, били, рвали всех
Без всяких похорон.
На равных
Бой
И крик — ура!
Багряный след в овсе...
И насмерть бил, как били все.
И пропадал — как все:
Стреляю. Плачу. Кровь в зрачок.
Бью в башни, по крестам.
Но под разъездом Казачок —
От пули в бок
Устал.
Устал... Усталости конец —
Убитых братьев зов.
И пил в одиннадцать сырец
С багровою слезой.
Мне говорят:
«В стихах не плачь!»
И сразу вижу их:
Идёт со шмайссером
Плач...
«Их шиссе!»⁵ — не живи!
А я живу. Назло врагу,
Безликости назло.
Где плохо — плачу,
Не могу,

⁵ Я стреляю (нем).

Пред павшими в долгу.
За каждый город и село,
За каждую семью —
В лицо запретчикам смеюсь
За всех, кого смело.
Я вправе говорить за всех,
За всю «братву-славян»!
Кто, ворогу кадык сломя,
Шёл под Анадырь
В снег.
Пришёл или остался там
Без почестей и дат.
И честь, и память их свята —
Я сам из тех солдат.

ИРИНА

Полстолетья кружится
Граната волчком.
Ты упала
На жёсткую наледь
Ничком
В сорок третьем,
Весной,
Меж гранатой и мной...

* * *

Боль безъязыкой
Не была.
Умеющему слышать — проще:
Когда молчат колокола,
Я слышу звон
Осенней рощи.
Я помню —
В зареве костра
Гортанные чужие речи,
Что миром будет
Править страх,
Сердца и души искалечив.
Так будет длиться —
К году год,
Чтоб сердце праведное
Сжалось,
Любовь
Навечно отомрёт,
И предрассудком
Станет жалость...
Но дух мой верил

В высший суд!
Я сам творил
Тот суд посильно,
Чтоб смертный
Приговор отцу
Не подписать
Рукою сына.

ПЕХОТА

...За сто шагов до поворота,
Где Ворскла делает дугу,
Далёкой осенью
Пехота
С землёй
Смешалась на бегу.
И стала тихой и свободной,
Уйдя в прилужья и поля
Сырой земли
С преградой водной
У деревеньки Тополя.
Подбило память серой льдиной:
Я не хозяин здесь, не гость.
За всё про всё —
Надел родимой,
Моей земли
Досталась горсть.

* * *

Для кого и зачем
Из сегодня,
Спотыкаясь
О память и явь,
Я бегу
Под горящую Готню
По разбитым
Осенним полям?
Через смерть,
Через скавшийся ужас...
Может, где-то
Не всё сожжено.
Может, снова кому-то я нужен
С индикатором,
С краюхой ржаной...
Обгоревшее
Детское счастье!
Батарейный накалистый гул.
Строевые сибирские части

С чернотою
Запёкшихся губ.
Отболели
И зажили раны.
И не пахнет
Нагаром в стволе.
Но дымится
Земля под ногами —
Десять лет,
Двадцать лет,
Сорок лет.

* * *

Живых из живых
Вырывали без списков осколки.
И вечностью было —
До третьих дожить кочетов.
Мы шли в неизвестность
На год, на мгновенье, на сколько?
Живые с убитых
Снимали в дорогу — кто что.
В большом лиховее
Достаточно малого блага:
Ладони в колени,
Свернуться, в скирду завалиться.
И грела живого
Пробитая пулей телага,
Так нынче — уверен —
Не греют тузов соболя.
И снилась не бойня,
Не трасс пулёмётных качели:
Мне — кони с цветами в зубах,
Их несла половодьем весна.
О сколько ж их было
В судьбе моей,
Страшных кочевий!
И видевших сны,
И не вставших из вечного сна...

НА ВЕТЕР, НА ОСЕНЬ

На ветер, на осень
Развеяло выстрелов залпы.
Могила и каска —
В октябрьском дожде, как в росе.
Мы завтра уходим
Вторым эшелоном на запад,
А ты остаёшься...

В нейтральной пока полосе.
Не слепиши игрушек
Из глины окопной — на взгорье,
Невесть для кого
Их в пустое поставив окно.
Не выпьешь из кружки
Сырцовую мутную горечь,
Как коркой, занюхав
Потертым шинельным сукном.
Но кто-то, когда-то,
Друзья фронтовые, солдаты
Присядут и выпьют,
Без слов, без боёв, без побед,
И тихо прошепчут:
«За всех — до конца не дошедших,
За позднюю славу
И вечную память —
Себе».

* * *

Сторона моя
В дальней пороше,
Ветер бешеный,
Бьющий, как плеть!
Для кого мне,
Жалея о прошлом,
В настоящем себя не жалеть?
Хлеб мой горький —
Дорожный мой камень.
Сумасшедший прищур амбразур.
Почему
Пропылившее в память
Так легко
И так тяжко несу?
Сторона ты моя
В поле белом!
За тебя,
Разорённый уют,
Наливаю стакан до предела,
Через край — за разлуку свою.
За живых,
За погибших когда-то,
Ставших пеплом
В пожарищах битв...
Да, мне жаль,
Что я не был солдатом.
Да,
Мне жаль,
Что я не был убит.

ХЛЕБ

Поле,
Полюшко послевоенное...
Как ни бейся,
Как слёзы ни лей,
Тощих речек
Иссохшими венами
Не могли
Напоить
Мы полей.
Век от веку,
Родные,
Как водится,
Вам нельзя
Уставать и болеть!
Дорогие мои Богородицы,
Берегини российских полей...
Слёзы вдовы
Везде одинаковы.
Но тогда,
Когда бился народ,
Вы по-русски,
Особенно плакали,
На сто лет выгорая вперёд.
Шаг за шагом,
Без крика-безумия
На валёк налегали вдвоём...
До сих пор
Под железными зубьями
Разбивается сердце мое.
Бороздою
И пристяжью пройдено —
Тот не знает,
Кому не пришлось.
Не познав
Родословную Родины,
Не поймёшь
Родословную слёз.

КОРОВА

Дым ползёт от хвороста сырого,
Виснет на кустах невдалеке.
Бабкина пятнистая корова
Тащит в дождь меня на поводке.
Листика коричневого орден
Прилепился на её губу,
И слезинки катятся по морде
За мою сиротскую судьбу.

Я гляжу надуманно-сурово
И в который раз, кривя душой,
Говорю ей: «Ты не плачь, корова,
Ты не плачь... Я вырасту большой!
И тогда ходить тебе не надо,
В вымокшее поле глаз кося,
Да и мне в колдобинах не падать,
В сапогах солдатских грязь меся».

* * *

Раздумья, раздумья...
Вкипели — не вырви, ни выкинь.
Живьём по живому
Упали в глубины души.
Сожжёные избы —
Как будто Руси горемыки
Сошлися и застыли,
На посохи лет опершись.
Сижу у окна.
И гляжу в облаковую завязь.
А мысли — совсем не о том,
Что сейчас на виду...
Повеяло детством
И болью.
И вдруг показалось —
Какими путями!
Метелица...
В мёртвом саду.
Воронки ровняла
Равнинною беглою мретью.
И в сердце вгоняла
Не грустный, а яростный вой.
Крутая, февральская,
С запахом тем,
В сорок третьем:
И пахло свободой,
И смертью
У передовой.
Сжигали мне лёгкие яростью
Север и запад.
Но там, в сорок третьем —
В нём правда, свобода,
Мой суд.
И воли, и чести
Метельный
Отечества запах
До смертного часа
В душе болевой пронесу.

Не тобой
 Я единственно болен.
 Отдышал ураганом стальным.
 Дай мне мужества,
 Детское поле,
 До родимой дойти стороны!
 Подними меня,
 Юности птица,
 Над простором,
 Что мною воспет,
 Чтобы мог я с разгону разбиться
 На земле, где родился на свет.
 Захлебнуться тем давним,
 Что было,
 Раз единственный
 Счастьем вздуров,
 В той земле
 Прорости чернобылом
 Среди серых крестов на бугре.

ТВОЕЙ ЧАСТИЦЕЮ

Я не был
 Беспокоен или тих.
 Жил напряжённо,
 Тяжело и сложно.
 Как дирижёр —
 От каждой ноты ложной
 Я задыхался, Родина.
 Прости.
 Прости меня.
 Иначе я не мог.
 Я — как слепой
 Вставал на поле боя.
 Не страх
 Бросал вперёд меня.
 Не долг,
 А невозможность
 Не дышать тобою.
 Мне важно — где,
 И важно — как умру!
 Душа моя вольна,
 Как в небе птица.
 Оттуда я,
 Где предок шёл за Русь,
 Забыв перед резнёй перекреститься.
 Я знаю все огни
 И холода.

Сдыхал в тифу.
И не был лишь инертным.
Не славу дай —
Ты
Умереть мне дай,
Чтоб стать
Твоей частицею
Посмертно.

ХОДИКИ

Вперёд, мои ходики.
Тикайте, верные ходики.
Прошла семилетка, другая...
Кукушка: ку-ку.
Прошло изобилие.
Вышли в герои угодники.
Чего не пришлось повидать нам
На этом веку!
Прожил так, как надо.
И сверху не ждал перемены.
Когда на подъёмах гудели
Поджилки мои —
Считали поэты за строчки рубли,
Как бармены,
И лирики скромные
Шли к холуям в холуи.
По всем тупикам-лабиринтам, судьба,
Мы протопали.
Душа разрывалась,
Но... дебри покоя — извне.
И бешеным чёртом
Кружил я в пылающем во поле,
По самой — по саменькой
Жал по его крутизне.
Сиротской, военной дорогой
Бежал по заснежью я,
На тяжкий свой крест
Восходил по босяцкой стезе.
Враги не добили.
Ты слышишь меня,
Моя нежная?
Молитвой своей защиты
От судей-лжедрузей.
Ро-ди-менькая...
Над чужими мне землями дальними
По детскому полю
Дыханье
Холстом простели...
Знамёна гудят.

Ослепляет сиянье медальоне.
К земле припаду —
Там увечно гремят костили.
В чём счастье земное?
Не в том ли, что прошлое помнишь?
Стою вот теперь,
В перекрестьях морщинок лицо.
Во взгляде,
Ещё удивлённо распахнуто в полночь,
Огни батарей,
Поездов, пересылок, лесов.

* * *

Что было езжено,
Что было пожито,
Водою вешнею
Метнуло по желтью.
О чём страдать уже,
Зачем, печальница?
Горит-горит в душе
И не кончается...
На травы волглые
Какой уж снег летит!
Такая долгая
Любовь у памяти.
Не потревожат степь потерять
Гудками сизыми —
Все эшелоны те
Давно уж списаны.
Не жди вихрастого
Мальчишку-воина...
Одна ветла стоит
Пристанционная.

СОЛДАТАМ РОССИИ

Полвека сняться сны о битвах
Степных, метельных, дождевых...
Что я живой
Среди убитых
И неживой —
Среди живых.
И тягостно от лжепричастья
Словес:
Никто не позабыт!
Из бездны лет
Не докричаться:
Кровавым грунтом

Рот забит.
И слышу без вести пропавших,
Их мысли шепчут ковыли:
«Что там за жизнь
У близких наших?
Ответь:
Не зря мы полегли?»
И я броском —
Назад от даты,
Туда,
Сквозь грязь,
По гужевым,
Где примут исповедь
Солдаты
И нарекут
Меня
Живым.

Я тебе не писал...

Из лагерных тетрадей 1968–1969 гг.

«Лагерные тетради», написанные на поселении Глубинное Чердынского района Пермской области, пролежали в домашнем архиве около сорока лет. Там многие сотни стихов. Они ещё полностью не прочитаны, нигде не напечатаны, даже не сосчитаны. Прочитать их действительно трудно: бисерные строчки карандашом в каждую клеточку общих тетрадей, иногда по два столбца на каждой странице, заполнено буквально всё, и без помарок... Неудачное подтиралось резинкой — из экономии бумаги. Тетрадь нужно было всегда держать при себе, чтобы не пропала, не надругались, не использовали на курево...



На поселение заключённых выводили после отбытия ими двух третей общего срока при отсутствии грубых нарушений лагерного режима. Труд такой же, как в зоне, но вместо постоянного конвоя — надзор. Разрешалось носить гражданскую одежду, иметь деньги и пользоваться услугами магазина (в котором, как правило, нечего купить), вести переписку и иметь свидания. За нарушение границ поселения — возвращение в зону.

«Лагерные тетради» — это дневниковые записи внутренней жизни заключённого, и только в очень редких случаях — внешних ее проявлений. Между тем, от Михаила ждали и даже просили именно бытописания. «Всё написано, всё известно, — говорил он в таких случаях. — Читайте Шаламова, Солженицына...».

Опять на сердце
Омут странный
И учащённо-тяжкий
Гул.
Текут стихи,
Как кровь из раны.
Бегут и стынут...
И бегут.
И думы...
Как беде случиться
Непоправимой и большой?

И нет желания лечиться
Ничем:
Ни телом, ни душой.

* * *

Мне снился сон.
Приснился в детстве мне.
Он в памяти.
А память не слаба та.
Как будто я на вороном коне
Въезжал в страну стихов
Под тяжкий вопль набата.
На мне армяк мужицкий,
А в руке —
Не жезл, не нож,
Не свод приговорений,
А до сих пор не изданный никем
Посмертно
Том моих стихотворений.
Вокруг галдёж
И ожиданья зуд.
И начал я о доле человечьей.
И плавилась людская боль в грозу,
Иное всё сметая и увеча.

* * *

О близком,
Об утраченном,
О давнем,
Нисколько ничего не утая,
Я расскажу тебе,
Моя исповедальня,
И в тиши, и в бурю
Спутница моя.
Я расскажу,
Как самое простое,
О тяжкой драке
Разума и чувств,
Чтоб каждою
Протоптанной строкою
Стать по уму для всех,
Как по плечу.
О радостях
Прозрачных и туманных,
Об океанах северной тоски,
О незаживших ссадинах и ранах,
Что жгут,
Как аравийские пески.

БУДТО

Пою.
И до рези в ушах
не слышно голос мой.
Так поёт лишь душа
или, освещённый факелом тоски,
в ночи
кричит немой.
Аплодисменты... Аплодисменты...
Это аплодируют мне,
смещаются руки и лица.
Но я их только вижу, как во сне,
или как взмахи крыльев,
когда осенью улетают птицы.
Плачу,
а по щекам моим вместо слёз
только тени их скачут,
только видения.
Смеюсь, запрокидывая голову.
Смех жизнерадостен и искрист.
А рот почему-то не могу раскрыть,
будто кто запаял его оловом.
И получается,
что кипением звуков, слов и чувств
я внутри самого себя клокочу,
как котёл на огне,
на котором манометра нет.

* * *

Я когда-то знал человека.
Он не стар. Не дожил до седин.
И хотел на кулачики с веком
Выйти драться один на один.
Только не соизмерил силы.
И удара не ждал — под дых.
Подкосило его, подкосило,
Как потоком густой воды.
И, как щепку в весеннюю паводь,
Понесло по подводным камням...
А ведь он не умеет плавать,
И до грусти похож на меня,
Так, что тело мне этим разливом
Прожигает до самой кости.
Неужели ж я вслед боязливо,
Глухо крикну: «Бродяга, прости!»
Ты же многим прощал и не это,
Да и это простишь всё равно...
Но в ответ засмеялась где-то
Моя жизнь, обнимаясь с волной.

Стихи имеют вкусы и цвета.
Раз «белый» есть,
То, значит, есть и синий.
А у меня порой бывает так:
Пишу на чае и на эфедрине.
Но грусти в этом нет. Как нет и бед.
В краю безмолвья, вьюг и безголосья
Я лишь хочу успеть в самом себе
Скосить стихов последние колосья,
Чтоб не остались — если дунет осень,
Нежданная, безвременная вдруг —
На брошенном до пахоты покосе
На стебельках качаться на ветру.

В моих стихах
Осеннний стылый шум,
Иль путник мнёт
Дороги хлипкой жижу.
Но я о солнце
Изредка пишу
Лишь потому,
Что сам его не вижу.
Во мне душа
Сорокой на колу
Сидит, как спит
С закрытыми глазами.
И путь пролёт
Под грустным светом лун,
Где в полночь
Тихо-тихо плачет заметь.
О чем она —
То плачет, то поёт?
Нельзя понять.
Но в том многоголосье
Мне кажется
Минувшее моё,
Как втоптанные
В пахоту колосья.

СМЕШНАЯ ГРУСТЬ

Дождливая осень.
На исхудальных шейках стеблей —
колосья
ржи.
Вниз лицом.

Пустыми глазницами.
И мнится,
будто поздравили
с утерянной радостью,
сердцем которую ты давно пережил.
Или наносят запоздалые удары
за ошибки
полузабытые, старые,
безголосые.
Они — те же колосья,
зёрна которых созрели
и осыпались по жнивью
в мокрую землю прошедшего,
в минувшую осень.
А за них, если и не возносят,
то и не бьют.

КОШМАРНЫЕ СНЫ

Всё чаще и чаще я вижу
кошмарные сны.
Как будто был ранен смертельно,
но выжил,
и лишь потому,
что мне раны лизут
гибриды зверей лесных.
Подходят, вроде,
и снова уходят,
проделывая это несколько раз.
И будто это у них в моде —
отвердевшие слёзы точат из глаз.
А я хочу их погладить,
но рук не могу поднять,
чтобы преодолеть третью пяди —
расстояние от них до меня.
И особенно мне делается тоскливо,
но этой грусти другим не понять —
это, когда участливо скосив глаз сливы,
они сидят неподвижно и долго,
и глядят на меня.

* * *

Оплывают — как воск со свечи —
Моей памяти давние боли.
И душа уж не корчится боле.
А глядит на огонь и молчит.
Я, наверное, быстро старею.
Чаще руки от холода тру.

Даже грустное прошлое греет,
Как костёр на холодном ветру.
И недавняя чья-то насмешка,
И почти что забытое зло
Чуть заметно кривят усмешкой
Бледных губ нездоровий излом.
Только я не измят, не измаян,
Не лежу после странствий пластом
И, нагар со свечи убирая,
Освещая нетопленый дом.

МОЯ РАДОСТЬ

Ближе, ближе, ближе...
Слышны восторги в толпе.
А ветер лицо моё лижет,
Пылит и мешает мне петь.
Я счастлив.
Но только не вижу
Тех, для кого пою.
Резкий свет глаза мои выжег,
Как выжигает солнце
Степные травы в июнь.
Но я так люблю жизнь
И не хочу умирать —
Боже, сохрани.
И, срывая цветы сердца,
Бросаю их
В раскаленную дорожную пыль,
Чтоб люди прошли по ним.
Пусть идут,
Лепестки ломая
И хрупкие стебли топча.
Только бы молчала во мне
Слепая и немая
Моя печаль.

Нынче, в полдень,
Голубка слетела под наше окно.
Видно, даже птице
Становится грустно одной
В поднебесье кружиться.
Я вынес ей зёрен
И высипал там,
Где истоптана в корень трава.
Но она не стала клевать,
И вскоре её поглотило осеннее небо,

Его высота.
О, вот так и ко мне бы,
В полдень жизни уже пожелтелый,
Ты нежданно-негаданно
Душу согреть прилетела!

* * *

Ночь.
Подхваченный ветром,
Чей-то свист улетает за гать
Невидимой полоской,
Но кажется, что голубою.
Следом — тусклые вспышки.
Это собачья нудьга.
Плачет пёс,
Зацепившись за ветер губой.
Ночь.
Ударился
Где-то о воду остывший звук
И, воды не расплескав,
Качнулся на лёгкой волне.
И собака, откусив кусочек ночи,
Протяжно забылась во сне.

* * *

О жизнь,
Скажи, куда же я иду:
Дорога то сложна,
То так, простая...
И дни мои,
Как первые снега,
То упадут, то вдруг до капли стают.
Я часто говорю себе:
«Постой,
Ты ж человеком создан, а не шпицем.
Зачем же делать жизнь свою пустой
И на любое эхо торопиться?»
И отвечаю тут же сам себе:
А может, там,
Где нет меня сегодня,
Дрожит душа, застывшая от бед,
Как на морозе стынет новогоднем?
И некому дыханьем губ согреть,
И некому подать воды напиться...
И тороплюсь —
Скорей-скорей-скорей
Туда, где ждут,
Бездомным старым шпицем.

Упадёт на сердце боль живая —
 В стылом стоне корчится душа.
 Боль не снег,
 Что по весне растаяв,
 Убежит, ручьями прошуршав.
 Сколько лет
 В расцвеченной одежде
 Отгуляв,
 Останутся вдали...
 Сколько-сколько
 Их минут пряде,
 Чем утихнет всё
 И отболит.
 Потому — по воле, по неволе —
 Кто они,
 Чужие ли, свои —
 Даже каплей,
 Малой каплей боли
 Человечье сердце не пои.

НЕ КРИЧИ

Не кричи, не кричи,
 Не кричи, моя боль,
 Не кричи.
 Кто с тобою нам
 Жизнь нагадал:
 Ту, что есть,
 Что была и осталась.
 Словно филин в ночи,
 Во мне зорко былые года
 Стерегут,
 Чтоб когтями
 Схватить,
 Что прожить нам осталось.
 Я не знаю безумий
 Безумнее тех,
 Что сейчас...
 И печали не знаю
 Со всеми её именами.
 Знаю только —
 Когда тебя бьют,
 То резвись, хохоча,
 Потому что
 Так принято, принято,
 Принято нами.

* * *

Уйти бы, уйти бы, уйти бы
От счастья,
От грусти смешной
В пустыню,
Где льдистые глыбы
Тревожно
Горят под луной.
Забыть навсегда
Пораженья,
Грядущих побед
Не испив.
А рядом бы
Тенью саженной
Былое,
Как пес на цепи,
Беззвучно, бесшумно и молча,
Сквозь множество
Бедствий и бед,
Душа чтоб, взвывая по-волчьи,
Не знала пощады к себе.

* * *

Мне снился сон.
В нём — тяжкий воздых
О пройденном
За столько лет...
И будто я
Поднялся в воздух,
И нет мне места на земле.
И в тучах
Из цветного ситца
Кружу,
Кружку-кружу-кружу,
Боясь на землю опуститься,
В её мятущуюся жуть,
Где, раздирая рот в улыбке
И плоть зудящую свою, —
Сонм масок,
Призрачных и зыбких,
В разноголосицу поют,
Вопят и падают куда-то,
Где дым, и копоть, и огни...
И мир,
Седой и бородатый,
Глядит задумчиво на них.

* * *

Треплет ветер
Сумятицу вьюг,
И собаки,
Устав, замолчали...
Только я,
Как безумец, пою
В полыхающий саван печали.
Я не знаю, услышит ли кто
Этот вопль,
Этот хрип бесполезный?
Синим ртом
Под седой темнотой
Я дышу,
Задержавшись над бездной.

* * *

Дороги, что мной уже пройдены,
Смешались. Сместились.
И только совсем немнога,
Как языки светилен,
Какой-то тусклой порошою качаются
В бездонной лампаде прошлого.
Что же это за русла путей?
Может, те, по которым когда-то
В нашу стылую хату
Пришла похоронная вместо солдата?
Или — голод,
Который вполз
В наше полуглухое село,
Право, трудно понять.
Только смотрит и смотрит в меня
Оставшееся в былом.
А осталось в нём многое...
Сиротское и босоногое
Детство. И раздумий недетская река.
И братишка, уснувший навеки
На маминых тонких руках.
И ещё многое,
Что в памяти переплелось
старыми
дорогами.

* * *

Холодно...
Накрыться б одеялом
И закрыть-закрыть-закрыть глаза,

Чтоб увидеть сон,
Как в детстве, алый,
И потом кому-то рассказать.
Алых птиц
Восходы и закаты,
Алой пылью конники пылят.
Ночью — алый дым
Над жаркой хатой.
Алый дождь в косичках ковыля.
Алый стыд и алый смех, и счастье,
Алыми грядущие года.
Только б со слезами не встречаться
Алыми,
Нигде и никогда.

* * *

Я уйду —
Откуда не идут телеграммы,
Где простор для всего —
Несравненно большой.
Знаешь, мама...
Ты прости меня, мама,
Если скажут,
Что я надломился душой.
Ты не плачь.
Я остался такой же самый...
Мужчина —
С детским сердцем живым.
Тот же самый, милая,
Тот же самый, мама...
Будь спокойна,
Храни тебя Бог, живи.
Этот мир —
Где и слёзы, и стоны —
Малодушные вопли живых —
Этот мир,
Металлический и бетонный,
Не для тех,
Чья душа — стебелёк травы.
Ты не думай —
Жилось легко мне!
И мечталось в стране — легко.
Просто, знаешь,
Бывает,
Что кони
Вдруг свернут на обрыв...
С седоком.

Иду куда-то я.
 Метелью след мой лижет,
 Как пёс ушибы лижет языком.
 Я знаю, знаю, с каждым шагом ближе
 Становится мне то, что было далеко.
 Нет жалости к годам...
 Порой лишь сердце колет.
 Да память прошлых дней
 Кудель седую вьёт.
 Лежит минувшее,
 Как брошенное поле,
 Которое уже ничё
 И не моё.
 Вот что-то, промелькнув,
 Застыло на минуту
 И пристально глядит
 Откуда-то в меня.
 И я гляжу, гляжу...
 Но тщетно почему-то,
 Чтоб угадать его,
 Припомнить и понять.
 И вот, в который раз
 Опять собравшись с силой,
 Стараюсь воскресить
 Калейдоскопы те.
 Но всё переплелось,
 Смешалось всё, что было,
 И вижу я вдали
 Лишь пляшущую тень.

ДУМЫ

Думы...
 Они никогда не покидают меня,
 Даже тогда,
 Когда я бездумно гляжу вдаль,
 Они бегут и бегут,
 Как по камням речная вода.
 Опадает ли осенью лист,
 Бьёт ли ветер траву неживую —
 Моё сердце болит,
 Будто вижу не осень,
 А подмятую душу живую.
 Мокрый пёс заскулит на цепи —
 Прячу слёзы в улыбке прогорклой.
 Всё во мне задрожит, закипит
 И подкатится комом под горло.
 То увижу жучка на плече
 И тревожусь: а вдруг его сдуёт?

Так вот и живу — неизвестно зачем,
С вечной ношей бессонных раздумий.

* * *

Сначала опадёт хвоя.
Потом сломает ветер кроны.
И вот останется стоять
Лиши ствол, гнилой и оголёный.
И будут лить в него дожди,
И бури напугает скрежет,
А он один, совсем один,
Усталой грудью воздух режет...
И будет времени река
Качать туманных дней завесу,
Пока не рухнет великан
Под грузом собственного веса.

* * *

Тихо-тихо...
И кажется —
Брось только лист
В голубую стихию раздумий моих,
В тот же миг
Закипит сумасшедшими волнами
Боль моих дум,
Закипит, розовея и пенясь вдали.
Не тревожь эту гладь.
Пусть травою забвенья
Её берега застают,
Чтоб бездонная мгла,
Упаси и помилуй,
На поверхность поднять не смогла
Прошлых лет залежалого ила.

ПЕСНЯ БУРЬЯНА

Занемог голенастый бурьян
От осенних чахоточных дней,
Занемог, занемог...
Стало б, что ли,
Скорее уже холодней.
Может, легче бы было
Стоять на ветру,
Под снегами, зимой,
Чтоб не видеть страданий собратьев,
Не умея им в горе помочь...
Чтоб не помнились дни

Жизни,
Ставшей и старой, и давней,
Опрокинутой временем
В белую зимнюю ночь.

* * *

Я вижу только завтра и вчера,
А то, что нынче — смутно и не очень,
Как видишь в голубые вечера
Почти прошедший день
И тень грядущей ночи.
Когда во мглу
И травы, и кусты
Ползут,
Гигантским сумраком стреножены,
И пройденное кажется пустым,
И будущее — мрачным и тревожным,
И огоньки — как памятники свету,
Что миновал — уж зажжены в домах...
И то, что было рождено рассветом,
Смыает и несёт
Безжизненная тьма.

* * *

Кружится, кружится, кружится
Ветер над маленькой лужицей,
И видно,
Как дрожит вода.
Под ногами земля липкая-липкая.
Провода в провесе
Поют заученность песен
То звонче, то глуше.
Их слушает
Покосившаяся брошенная изба
И улыбающаяся
Мёртвая конская голова
С землёй в зубах.
А надо всем этим
И над лужицей
Неистово ветер
Кружится, кружится, кружится.

* * *

Тише, тише, тише...
Не надо во мне пугать
Песню, которую, слышу,
Поёт за окном вьюга,

Светлую и большую
О дальней моей стране...
Не прикасайтесь, прошу я,
К этой печальной струне.
Вам ничего не стоит
Горечь мелодии та.
...Каплями жаркой крови
Выплачусь, к песне припав.

* * *

Сегодня на небе
Я видел багровый закат,
А ветер гудел
И раскачивал чёрные тучи.
И день угасал.
Только огненных два языка
Горели, сшибались,
Пылая стихией могучей.
И дождь оседал,
Будто что-то мешало ему,
Кровавой капелью.
На фоне закатного жара
Кружился, кружился...
Так кружится сонмище мух
Над сточную ямой
Иль искры в ночи над пожаром.
А здесь, по земле,
Металлическим путом звена,
Паслась лошадёнка,
Уткнувшись в зелёную скатерть,
Не видя ни неба,
Ни бешеных вихрей огня,
Ни туч, что плясали
И бились вдали, на закате.

* * *

Я лежу,
Глядя в стылое небо века.
По щеке,
Будто я уже тень человека,
Ползает маленький жук.
Вот где-то жалко
Всхлипнул ветер
И, холодным языком лизнув меня, утих,
Примостившись под боком.
Меж дерев, в просвете,
Качается ворон,
Будто кашляя, покрикивает.

Грустно и одиноко.
Улетающих птиц
Расстояние размыло вдали.
А в лицо мне
Кружится
И падает, падает, падает
Умерший лист.

* * *

Вот и всё, вот, пожалуй, и всё.
Наш поселок листвой занесён.
Заметлен, как память, годами,
Которые также, как лист, облетели,
И теперь только ждёшь,
Когда осень прошепчет: «Прощай».
Уж нельзя выходить без плаща.
Над полями, над рощами
Серый качается дождь,
И, по крышам шурша,
Убегает к реке, к камышам.
Но ёщё непонятно
Клубятся, клубятся
Над заводью бело-синие тучки тумана.
Кто-то, может, не хочет
Глядеть в холодные долгие ночи
И в лист, что дождями и ветром
Вплотную к стеклу принесён.
Только я душой полюбил всё это,
До священной глуби...
Не словами, а именно ею,
Душой полюбил.

* * *

Догони, догони
В никуда уходящие дни,
Чтоб увидеть в их лицах
Больную гримасу былого
Или радости след,
Той, что в памяти где-то искрится
Голубою капелью
Слепого дождя на стекле.
Догони не затем,
Чтоб оплакивать прошлое втайне,
Или делать предметом роптаний
Свою явь, погружённую в темь...
Догони,
Чтобы в них
Отраженье грядущего предугадать.

* * *

Юга...
Оседает юга
На листья, на травы,
На всё оседает юга,
Как злая потрава.
И даже деревья уснули —
Устали листвою мигать.
Всё жарче, всё суще.
И солнце, огнисто-кровавое, мёртвое
Солнце висит освежёванной тушей
С крючками лучей
В надломленных временем полдня
Ногах.
Юга. Юга. Юга...

* * *

Кружится воронё
Над рощами худыми.
Накрапывает дождь.
И густо пахнет дымом.
За окнами ноябрь,
Слезящийся сквозь тучи,
Он как судьба моя,
Как этот мир летучий.
Дощатый хуторок
И улицы-изломы,
И нет вперёд дорог,
И нет пути к былому.
И я стою, стою,
Как у дороги камень,
С простёртыми на юг
Застывшими руками.
Я всех хочу обнять,
До пьющих на панели,
Но руки у меня
Навек окаменели.

* * *

Сейчас хоть сколько бед переноси я...
Но век грядёт,
И день, и час грядёт,
Когда на душу всей страны — России —
Мой путь упрёком горьким упадёт.

* * *

Пройдут года —
Глядишь, и нет нужды
До старых мук,
До прежних бед и странствий.
Они, как дым
В полуденном пространстве,
Над полем выжженым,
Не мёртвым,
Но седым.

* * *

Упаду, упаду,
Поцелую родимый порог.
Мне не стыдно:
Пусть слёзы бегут,
Запекаясь в пыли.
Я прополз на коленях
Последние дюймы дорог,
Хоронясь от прохожих,
Чтоб спрятать,
Как сердце болит.
Мне сочувствий не надо,
Потому что от них тяжелей,
Чем от ран на коленях,
Рассаженных о голыши.
Моя жизнь подсказала,
Что мир не способен жалеть.
Хоронюсь же затем,
Что мне некуда больше спешить.
Я хотел одного лишь —
Вернуться до дому живьём,
Где в минувшем лишь только
Мне видится радость да лад.
Поклониться землице
За горькое счастье моё,
Поклониться могиле,
Где та, что меня родила...

* * *

Когда уйду я —
Пыль следы завьёт,
Следы судьбы,
Что только в горе крепла.
И, уходя в грядущее своё,
Возьму от лет сожжённых
Горстку пепла,

Чтоб ветер века,
Нового уже,
Другой мечтой и песнею воспетый,
Души моей угасших мятежей
Не сыпал серой горечью по свету.
Пусть станут сном
И боль моя, и быль,
И всё,
Что в них заманчиво и ново,
Чтоб никому
Другой такой судьбы
Не суждено было отведать снова.

* * *

Пусть жизнь моя
Темна и нелегка,
Пусть я сейчас для многих не потребен,
Но убеждён, что буду жить в веках
Одной из звёзд
В печальном русском небе.

Лицо святое, светлое твоё

«Во мне душа сорокой на колу сидит, как спит с закрытыми глазами...» — определяет Сопин своё состояние в годы заключения. Но именно тогда были написаны самые светлые, пронзительные стихи о любви...

* * *

В память —
Как в дождик руками —
Хочется, хочется мне.
Чистое-белое в памяти,
Нежное — только лишь в ней...



* * *

В моих стихах
Так мало о любви...
А если есть —
То призрачно и робко.
Но сколько лет,
Мечту тоской обив,
Я к ней иду
Нехоженою тропкой.

* * *

Неразделённая любовь во мне,
Так и прошла ты где-то между нами.
Сгорела, словно письма на огне,
И годы пепел выкурили в память...

* * *

Не тронь, пускай лежит
Под серым слоем пыли
Всё то, чем жили мы
С тобою столько лет.
Мы все в свои года
Страдали и любили.

Горели на огне
И грелись на золе...
Не тронь, пускай лежит,
Что нынче стало старым.
И для тебя
То свято, что ушло.
Зачем, чтобы шурша
Листом по тротуарам,
Лишь из-под нас самих
Кружка, его несло?
Пройдёт немного дней —
И прошлое истлеет,
Как тлеет падь
В оврагах старых дней.
А то, бывает, вспомнишь что —
И станет вдруг светлее
От полыхнувших в памяти огней.

* * *

В листопаде
Писем твоих ранних,
Тех, что в памяти ещё свежи,
Наших чувств
Истёршияся грани
Доживают маленькую жизнь.
И слова —
Где ты целуешь будто
Глаз моих
Горячевых нудыгу —
Кто-то грубый,
В сапоги обутый,
Раздавил рябиной на снегу.
Их нельзя
Теперь к душе подклейть,
Пылкий разум
Прошлым горяча.
И от них
Ни мрачно, ни светлее
В полночи судьбы моей сейчас.

* * *

Я слышу твой голос из тьмы.
Я слышу, я слышу, я слышу,
Ты шепчешь: «Куда ж это мы,
Как двое глухонемых,
Пришли,
Будто двое немых,
Помеченных знаками скуки,

Крепко взявшись за руки,
Которых у нас нет...»

* * *

Башка закачалась от дум.
И лист на воде — замечаю...
И я в море жизни качаюсь,
А кажется, будто иду.

* * *

Стоишь ты,
Руки на груди скрестив,
А ветер
Тихо волосы колышет.
Я помню всё.
Хочу сказать:
«Прости...»
Но сквозь года и вёрсты
Не услышишь.
И вот теперь,
Изведав столько бед,
И роком злым
Любим и охраняем,
Я говорю,
Но только не тебе,
А в стылый сумрак
Горечь слов роняя.
Их слышит путь,
Каким, устав шагать,
Уж столько лет
Влачусь я одиноко.
Их слышит ночь
И мрачная тайга,
Да ветра вой,
Что бьётся в наледь окон.
И ты — в глазах...
Усталость рук скрестив,
Стоишь,
И время образ твой колышет.
И я, хрипя,
Кричу тебе: «Прости!...»
Но с каждым годом
Тише, тише...

* * *

Всё прошло.
И голос твой утих,

Некогда —
То ласковый, то строгий.
Видно, все кончаются пути.
Видно, все кончаются дороги.
Уплывает в память, трепеща,
Всё, что было,
Словно даль седая.
Слышишь, я шепчу тебе: «Прощай».
Это ведь уже не «До свиданья»...

* * *

Мне тридцать семь.
А годы всё спешат.
Боюсь,
Не стать бы белою вороной.
Опять завоет в безголосье душа,
Как много лет назад над похоронной...
Вы скажете, что я обезумел?
Как воробей,
Попался на мякине?
Нет, братцы, нет.
Дела идут к зиме.
И на висках —
Густой-густующий иней.
Нам всем, конечно,
Где-то в цвете лет
И думалось, и понималось проще.
Но жизнь — как жизнь:
За безмятежным вслед
Вдруг хлынет грусть,
Как осенью по роще.
Разверзнутся
Бескрайние дожди.
Встуманят стёкла.
Зашумят по крыше.
А ты — один.
Совсем-совсем один.
Кричит душа.
Но кто её услышит? .

* * *

В мой карман
Залетела метель
И пропала — слезинкой растаяв.
Не сберег я её в суете,
Умерла, как снежинка простая...
Я боюсь, если эта стопа —
Предсказанье,

Но только иное:
Может, так,
В мою душу упав,
Ты уйдёшь
Незамеченной мною.

* * *

Горят дрова.
Горят дрова в печи.
И я сижу,
И пламя жжёт колени.
И душу память жжёт.
Но ты, душа, молчи!
Пусть всё сгорит в тебе,
Как эти вот поленья.
Пусть всё сгорит,
Пусть всё сгорит, пусть всё...
До уголька.
До серой стылой пыли.
И бурей дней
Бесследно унесёт
Любовь и боль,
В былого бездну вылив.
Я не хочу уж больше ничего —
Горела б печь,
Да грел огонь колени...
Ни обещаний.
Ни пустых тревог,
Ни их утрат,
Ни горьких сожалений.

* * *

Я иду, а ветер, дождь калечा,
Дует, дует, дует мне навстречу,
И от усталости,
Иль от чего ещё
Стекают капли впадинами щёк.
«Далёк ли путь?» —
Спросил бы кто-нибудь.
И я скажу:
«Иду в свою судьбу,
Где дом стоит
Без крыши и без стен,
И дождь, как дятел
Бьёт по бересте».

* * *

Я всё забыл.
И, став уже большим,
Живу теперь
Смешно и одиноко.
Душа во мне —
Расколотый кувшин —
Лежит,
Сливая боль
Щербатым боком.
Мне говорят,
Что стих мой полон грусти,
Как будто я
Отрадою не жил.
А сердце —
То поднимет, то опустит,
То в непонятном вихре
Закружит...
То вдруг некстати
Гонит, гонит, гонит,
И мысли скачут
Бешено, не в лад:
Так мчат порой
Испуганные кони,
Кровавой пеной крася удила.

* * *

Не сказывай, не сказывай
О горечи финала.
Метель югою газовой
Глаза запеленала.
Простая ли,
Простая ли
Твоя кручина разве,
Когда слезинки стаяли
И покатили наземь?
Весь свет постыл
И стал не мил,
Больное сердце донял,~
И дом колотит ставнями,
Как по щекам ладони.

* * *

Перебирая прошлые года,
Хочу найти,
Что дорого и мило...
Но сядет муть,
И снова не видать

Ни блёстки счастья
В стылом слое ила.
Кто виноват —
Я не ищу причин
На пустырях забытых территорий.
И лишь душа
В минувшее кричит...
Но только эхо давнее
Ей вторит.

* * *

Внимание! Внимание!
Слушайте все радиостанции душ,
Потому что к вам обращается
Тоже живая душа.
Я нашёл веру по имени N,
Теперь мне легче жить
И легче дышать.
Недавно ёщё среди северной стыни
И непроходимых трясин
Я, как тяжелораненый,
Лежал и просил
Глазами тускнеющими и пустыми,
Просил понять...
И добить меня.
Жизнь для меня была обесценена,
Как среди золотых россыпей
Ничего не значащий золотник.
Догорали в подсвечниках времени дни,
И никакой Авиценна
Не смог бы меня сохранить.
Но пришла Она и сказала:
«Я вижу, ты болен и очень слаб,
Но пойми,
Я сердце тебе своё принесла...
Встань
И сойди с креста...»

ЗЕЛЁНЫЕ ГЛАЗА

Больше всех
Мне нравятся глаза
Зелёные.
А почему —
И сам не знаю, право.
Может быть потому,
Что они способны зеленеть
У влюблённых
И росинками слёз искриться,

Как луговые травы.
Или ветер чувств
Несёт меня в круженье,
И я не знаю, куда лечу?
А может, просто
У одной из женщин
Такого большого мира,
Маленькой и милой,
Которую я видел только раз,
Такой цвет глаз...
Зелёный
И такой...
Влюбленный-влюбленный.

* * *

Никого не прошу,
Да и сам не хочу
Приглушить в сердце шум
Растревоженных чувств.
И не надо, грубя,
Слов на ветер бросать —
Я поджёг сам себя
И тушить буду сам.
Лучше уж за бугор
Выйду, боль укорю,
Там, где нет никого,
Только ветер-горюн.

* * *

Я не забыл.
Я помню зиму ту.
Ты трёшь стекло
Мохнатой рукавичкой...
Сейчас я тихо-тихо подойду,
И мы пойдем куда-то
По привычке.
И никакого счастья
Нам не надо.
Лишь только так вот
Было бы всегда:
Чтоб были мы,
И снег вот также падал
На тишину,
На нас, на провода...

* * *

Милая, милая, милая...
Говоря о тебе,

Я до хрипоты голос снижаю.
Как выпавшее перо птицы,
Кружка,
Я хочу прикоснуться
К твоим снам
И груди, и губам, и ресницам,
Чтоб ничуть не мешать
Твоим детским мечтаниям.
Моя милая девочка, Н,
Чтобы бурь моей жизни
Не могла бы услышать
Твоя неземная душа.
Но ветры судьбы
Всё сильней заметают
Увядшими листьями дней
Мою явь, мою боль, мою быль,
Всё во мне заметают,
Как декабрьский
Прикамский мятущийся снег.

* * *

Я лежу на траве,
Уперев кулаки в подбородок.
Южный ветер
Шевелит мне ресницы,
И мнится,
Будто это вовсе не ветер,
А дыхание твоё.
Только веки смежу —
Предо мной
Зелёная бездна твоих глаз,
И я чувствую,
Что утопаю,
А волны бегут и бегут...
И печаль выкипает
До дна.
О, понять бы тебе,
Что в тебе утонуть —
Это значит:
Навеки, навеки, навеки
Остаться в живых.

* * *

Глаза твои —
Цвета хвои
И цвета рассвета,
А в глуби —
Сине-зелёные...

Поэтому немудрено,
Что я считаю себя
Влюблённым,
Что тебя полюбил.
Когда ты рядом,
Я испытываю всё:
И прохладу,
И ласкающее тепло огня
Твоих трепетных губ.
И не могу, не могу, не могу
Понять —
Почему ты такая хорошая у меня.

* * *

Я не могу тебе мешать.
Останься прежняя, былая.
Моя осенняя душа
Холодным пламенем пылает,
Как роща в вечер на горе,
Соцветьем грустных увяданий,
Что опадёт, перегорев,
Перед большими холодами.
Но ведь от трав до душ — здесь всё
Рождается, растёт и вянет,
И я, как все... Я не святой,
Но сколько ж раз вставать и падать...
Поэтому — останься той,
Не тронутой моим распадом.

* * *

Мне жаль, если стёжечки наши
С тобой не сойдутся в одну,
И годы их также запашут,
Как стылых полей седину.
Ты рвешься на вихорь, на ветер,
Сквозь боль и лихую беду,
А я, как в пустыне, на свете —
Слепец расколдованных дум.
И это нелёгкое бремя
Несём мы на разных правах,
И кружится, кружится время,
Запястья уткнув в рукава.

* * *

Ты ушла — бездумно, не спеша.
Время бы сказать тебе

«Постой!»
Но взамен заплакала душа
Безголосо, в комнате пустой...

* * *

Я знаю: последнее слово
твоё будет — молчание.

* * *

Во сне я шепчу твоё имя
Губами сухими,
Которые суще
Иссохшей от зноя земли.
Почему ж не идёшь
Ты, как ливневый, бешеный дождь,
Жажду собой
До корней
Во мне залив?
Амулеты рассудка
Не властны над пламенем чувств,
Когда выжжен рассудок
До смали,
Как травы в степи.
Потому — не хочу,
Никаких больше слов не хочу.
Распроститься с тобой —
Это в душу себе наступить.
Приходи, приходи, приходи..
Я боюсь себя, когда один,
Светло ли, темно,
Больше жизни и смерти
Боюсь — когда я одинок.

* * *

Нынче ночью кричали опять петухи...
Нынче ночью не спал я, подушку обняв,
И глазам воспалённым, до рези сухим,
Ты явилась, как с зеркала глядя в меня.
Я тебя не узнал, я почти не узнал
Твоих глаз, твоих губ, твоих розовых щёк,
Не просил, чтоб осталась со мной допоздна,
Но молил молчаливо оставаться ещё
На минуту всего, на минуту всего
Утолить мою боль, погасить тот огонь,
Что уж столько ночей от зари до зари,
Постепенно сжигая мне сердце, горит.

* * *

Моя беда —
Одна моя беда.
И ты не думай,
Будто я не смыслю,
Что в жизни... я...
Ну что тебе я дам?
Туман надежд
На дымном коромысле?

* * *

Дай слово — не любить меня,
Что будешь видеть меня реже.
Ведь знаю, что судьбу кляня,
Ты всё равно его не сдержишь.
Так будет год, так будет два,
Так будет «много-много-много»...
Ты будешь «слово» мне давать,
Идя со мной одной дорогой.

* * *

Не приходи ко мне, когда
В моей лачуге холода,
Когда я слаб и боль в груди —
Не приходи, не приходи...
Спеши и днём, спеши и в ночь,
Когда смогу тебе помочь.

К ТЕБЕ...

Лиши меня речи —
Когда запытают, забьют.
Удвой мои силы
В неравном, но честном бою.
Глаза ослепи мне,
Когда, ожирев, поползут,
Как росы сбивая
Скупую слепую слезу.
Сломай мои руки
Скорей, чем случится беда,
Чтоб я вместо хлеба
Просящему камень не дал.
Но вдруг запою я,
Хвалой палача одарив..
Убей моё сердце
И душу мою забери.

* * *

Идут к концу
Последние листы.
Бежит ещё
Живое слово в строки.
Но как же я
К людской молве остыл,
С годами став
Каким-то одиноким.
Слова-слова...
Уж эти мне слова!
«Как поживаешь?
Как твоё здоровье?..»
Пятнадцать лет
Подушку целовать
И голосить беззвучно,
По-коровьи.
Вот и ответ на то,
Как стал таким,
Хотя и был
Весёлым, легковерным.
И потому
Глаза, как поплавки,
Глядят на мир,
Волнистый и неверный.

* * *

Я только лгу,
Я только жалко лгу,
Когда скажу,
Что выжег в сердце веру,
Что никого любить уж не смогу,
Уйдя душой в раздумий сумрак серый.
Да, выжег, выжег,
Выжег в сердце я
Частицу чувств
И горечь с ними вместе,
Но никогда,
Ни в чём душа моя
Не жаждала для виноватых мести!
И если злополучный рок судьбы
Определит мне то, что и вначале...
Я всё равно останусь тем, кем был —
Встречая, доверяя и печалясь.

* * *

Прости мне, милая,
Бессвязные слова.

Не будь ко мне
Неласковой и строгой
За то, что всю тебя
Не смог расцеловать
В последний раз,
В ту ночь, перед дорогой.
За вздох бездонный
В воротник пальто,
Слетевший паром
В стылый сумрак серый,
Что возвращался я уже не тот —
С больной душой
И сломленною верой.
Пройдя пешком
Сквозь годы бед и смут,
Где лишь в мечтах —
И радость, и участье,
Так тяжело
Поверить самому
В своё,
Почти непонятое счастье.

* * *

Помнишь, я спорил,
Зелень полевая...
Думалось, что горе
Всё отболевает.
Ах, только всё неверно,
Только всё иначе,
Потому, наверно,
Я — бывает — плачу.
Время бы забыться,
Помнить бы не надо,
Только сердце — птица
За стальной оградой.
Дай мне руку, память,
Пусть с тобой уходят
Годы, что на Каме
Смыли половодья. . .
Не дожить до ста, то —
Горечь не сквозная:
Проживу остаток
Дней своих, как знаю.
Пусть метели скерцо
Вдаль мой след запашет —
Когда лопнет сердце,
Как бокал упавший.

* * *

Только здесь,
Вдали от дел иных,
От вопросов всяких и отчётов,
Вижу я тебя со стороны,
Так и не сказавшей мне о чём-то.
В давнем —
Я не «против» и не «за».
В нём — твоё.
И мне нельзя иначе.
Только почему ж твои глаза
Также улыбаются и плачут?
Даже днём
В них грустно и темно.
Даже радость
Как-то их смежает...
Ты — со мной,
И нет тебя со мной.
Ты — моя,
И всё-таки чужая.
Я и сам былое распростёр,
Пусть метёт
Клочки бумаги к краю...
Только знаю:
Сердце — не костёр,
В нём ничто
До пепла не сгорает.

* * *

Ну что ж, твоя беда не в том,
Что ты, махнув рукой устало,
Изверившись в своём святом,
Другому верить перестала.
Не плачь... На этом белом свете
Живём не только ты и я.
Ты подожгла в степи бурьян,
Не рассчитав на встречный ветер.

* * *

Что-то ты
Мне перестала сниться.
В этой пляске
Снега и хвои
Я хочу,
Чтобы твои ресницы
Прикоснулись
Ласково к моим.
И в мои

Легли твои ладони,
Чтоб от этих
Долгих ноябрей
И от этой хмурости чалдоньей
Хоть немного
Душу отогреть.
Милая, мне кажется чего-то,
Будто...
Будто я схожу с ума,
Потому что ветра тихий хохот
Выхожу ночами обнимать,
И, упав лицом
В метельный ворох,
Как слепой,
Не видя никого,
Всё ищу, ищу чего-то споро,
Гладя снег
Холодный и тугой.

* * *

О, это будет —
Самый светлый миг,
Когда, почти сведя
Игру с судьбою,
Возьму
Из запылённой стопки книг
Одну из тех,
Что писана с тобою,
Но не читать,
А так — поворошить
Её полу забытые страницы...
Возможно, вновь
Былое для души,
Как детский сон,
Как лёгкий сон, приснится.
И вспомнятся мне первые слова,
И трепет рук,
И слёзы на ресницах...
И грудь твоя,
Что робко целовал,
И всё, о чём молчу,
Пусть всё приснится.

* * *

Кружи, метель,
Кружи, я только рад,
Бросай в лицо мне
Снежной пыли жижу.

Я знаю всё:
Настанет та пора,
Когда тебя я больше не увижу.
Слепи меня, кружи меня, качай,
Я всё равно не буду сторониться.
Ты залетела —
Будто невзначай,
И подожгла бумажные страницы.

* * *

Если я,
Раздавлен и забыт,
Возвращусь
В твою обитель — ту же...
Не прощай мне
Никаких обид,
Я такой
Тебе уже не нужен.
Пусть —
Листом осенним трепеща —
Упаду
В распутьи под ноги.
Мне, прошу,
И капли не прощай
Из того,
Что отпускаешь многим.
Уходи,
Ты слышишь — уходи!
Растопчи
Мечты напрасной
Бред свой.
У того,
Кто может жить один,
Ты душой
Не сможешь отогреться.

* * *

Считаю вновь до десяти...
А путь — трудней,
А ветер — крепче,
И некто шепчет:
«Брось идти,
Куда, зачем?» —
Всё шепчет, шепчет...
И кажется — не снег огнём
Слетает в пепельные щёки,
А закружилось воронье
В степи, над телом одиноким.

И сон тягуч, неодолим —
Уносит в стылую пустыню.
И вдруг я вижу свет вдали —
То засветилось твоё имя.
И пусть метёт,
Пускай вьюжит
И валится на плечи вечер...
Теперь я знаю —
Должен жить,
Чтобы идти тебе навстречу.

* * *

Милая-милая,
Я вижу тебя
Девочкой маленькой-маленькой.
А себя —
Полувысохшим стеблем,
Что одним корешком лишь
К земле и привит.
Ты, улыбаясь,
Тянешься ручонками
К цветку,
Что кажется аленьким.
Ты — дитя,
И не знаешь,
Что он не в цвету,
А в крови.
Она выступает
Из порезов и надломов,
Образуя красивый
Узорчатый бант.
Но ты — дитя,
Ты не знаешь,
Почему молятся былому,
Бормоча в пустоту
Иступлённо: «Избавь...»

* * *

Смеясь, отцеловав,
Ты тут же грустной стала,
И дальше снова так —
То радуясь, то нет.
Не верь, не верь словам —
Поверь глазам усталым,
Печальной складке губ
И ранней седине.
Для тех, кто в жизни знал
Удары и паденья,

Не может быть любви,
Придуманной на раз.
Не верь, не верь словам,
Сердечным заблужденьям,
А верь в святую грусть
Прямых усталых глаз.

* * *

Н, где ты теперь,
Что ты делаешь в эту минуту?
Пишешь что-то,
Читаешь,
Свернувшись калачиком, спиши?
А у нас — холодина,
Какая-то снежная смута,
Будто тысячи дьяволов
Снежных
Разбушевались в степи!
Мне тревожно чего-то.
Опять, видно, нервы устали.
Каждый шаг — за версту.
Каждый маленький холмик —
Тибет...
И во сне
Разрываю руками
Колючие заросли стали,
Всё хочу
И никак не могу
Прикоснуться к тебе.
Я иду,
А невидимый кто-то,
Рогатки втыкая,
Для чего-почему,
Но старается мне помешать,
Словно чувствует,
Что ты такая...
Такая —
Улыбнёшься лишь,
И от улыбки растает душа.

* * *

Жар. Мозг прожгло.
Болит душа.
И очень тяжело, почти нечем дышать.
Перед глазами —
Во всё небо сияние.
И далеко далёкое,
Охваченное нежгущим огнём.

В нём — женщина-девочка
В очках,
Которую я безумно люблю и называю ласково N,
Я знаю,
Она не поймет меня,
Пока я жив.
Пока правдив и лжив.
Живых... трудно.
Мёртвых в нашем мире легче понять
И принять,
Мёртвых легче.
Их уже не учат, не лечат.
Об одних поговорят и перестанут,
Других... «повышают».
Хотя всё это очень грустно.
Жизнь — такая маленькая.
Смерть — такая большая.

* * *

Скажи мне что-нибудь, скажи,
Пусть голос твой и слаб, и робок...
Я всё равно пойду сквозь жизнь
С одной тобой. Всю жизнь
Бок о бок.
Печальна ты или светла —
Была б открытой глубь души бы,
Чтоб мог я сердце подостлать...
И врачевать твои ушибы.
Отринь сомненья, отгони
Совсем ненужные печали.
Они, как дальние огни,
С зарёй потухнут на причале.

* * *

Гляди, пока я жив,
Пока ты слышишь тихие слова
Полупризнанья
И безгрешной лжи,
Пока я губ печальную усталость
Могу до изнеможенья целовать.
Пока я пью вино...
Чему виной —
Тоска,
Что от прошедших дней осталась,
Пока могу рыдать —
Рыдать, рыдать сквозь смех,
В душе, в самом себе,
Бросая вызов миру и судьбе.

* * *

Среди развалин и камней
Седое время стынет, стынет.
И ты совсем одна ко мне
Идёшь сквозь зыбкий шум пустыни,
Усталости наперекор,
Забыв о вечности начале.
В глазах не слёзы, не укор,
А бесконечный гимн печали.
Иди ко мне, иди, иди...
Отвергни ропот человечий.
Я жду всегда, я жду один,
Чтобы тебя увековечить.

* * *

Молю тебя, не надо наставлений
В любви, в искусстве, в глупости идей,
В минуты творчества,
В блаженстве праздной лени —
Не торопи, не искушай, не бей!
Я всё пройду от слова до расплаты.
Не хлопочи, не майся надо мной!
Я даже смерть хочу принять без постулатов,
Но и прожить хочу — как мне дано.

* * *

Пойду куда-нибудь, пойду один,
Раз нет попутчиков.
Пойду — куда попало.
Но только ты за мною не ходи,
Прельстясь зарёй... и далью из опала.
Моя душа и сердце — не трюмо.
В них заглянув, увидишь только темень.
Когда-нибудь я всё пущу «в промот»
С годами прошлыми — и этими, и теми...
Лиши проводить приди меня сама,
Пусть будем: ты и я, и ветер с пашен,
Чтоб не смущала лет моих сума,
Тех, кто в укор тебе поставит
«Наше».

* * *

Сквозь дым тоски и злую замуть окон
Я вижу тебя ясной и нагой.
Но ты во мне, чужом и одиноком,
Сквозь призму дней
Не видишь ничего.

Ужель секрет лишь в тайне светотени?
Ужель мир так расплывчат и делим,
Что в суете исканий и смятений
Растаю тенью, пляшущей вдали?
Но воскрешает вновь судьбы причуда
Твою мечту.
И пляшет дождь гурьбой,
И я опять, как вышедший из чуда,
Как зов души,
Стою перед тобой.

* * *

Минуют дни.
И незаметно минут,
Как тень,
Мечтанья милой старины.
И мы присядем к прошлого камину,
Чтоб заглянуть в себя со стороны,
Где было всё и сказочным, и странным:
Тепло надежд и лёгкий дым тревог,
И чья-то боль, и собственные раны,
Где было всё —
Но нет уж ничего.
И эти дни,
И эта боль — минуют,
И этот путь, и трудный, и большой,
И мы присядем к памяти камину,
Чтоб отогреться стынущей душой.

* * *

Не упрекай меня,
Когда скажу: не все
Друг другу дарят
Ласку и усталость...
Не огорчайся,
Что ушёл совсем,
И не кори себя —
За то, что ты осталась.
Я больше жил.
Мятежность тяжких дум
Носил в душе,
Доставшихся мне с боем,
Но знал,
Что скоро всё равно уйду,
И задушил их,
Чтоб забрать с собою.
Зачем ушёл?
Иль почему хотя б

Не обратился к близким, к их совету?
Нет, я не мог просить их...
Так дитя
Влечит судьбу сиротскую по свету.
Ты пробовала —
Сердце промочив
В своих слезах,
До меркнущего тленья,
Идти в ничто,
Под окнами, в ночи,
И в жизнь вползать
На содранных коленях?
Сквозь сумрак лет,
Сквозь постоянство мук,
И вечно — в роли,
В колпаке и в гриме...
Такое неудобно никому.
И кто поймет?
А из понявших — примет?

* * *

Тревожит мысль неровная порою,
Что если вновь к тебе я возвращусь,
То ты опять обятья мне откроешь,
Чтоб заглушить в душе большую грусть,
Что прижилась за эти дни и ночи,
Так безнадёжно-больно прижилась...
А если сердце больше не захочет
Былой мечтой, былой... упиться всласть?
А вдруг в нём растоптали — что растило —
Сломав тобою созданную гать?
А вдруг оно — как я — давно простило?
Ему — как мне — теперь уж не солгать?..

* * *

Далёкий друг,
Тот путь, где шли мы оба,
Не вспоминай,
Не воскрешай те дни.
Умру — не плачь,
Не мучайся у гроба,
Лиши, глядя вдаль,
Печально улыбнись.
Не надо, друг, не надо и не надо.
Всё это — жизнь,
И в этом были мы.
Не зная рая — что бояться ада?
Не зная света — что страшиться тьмы?

* * *

Вижу тебя
Капелькой вина я,
Каплей алкоголя,
Каплей доли,
Миллиардной плавящейся болью
В века опечаленных глазах.
Ты всегда со мной.
И вечно где-то
Видишься сквозь времени прищур.
Мир, в непостижимое одетый,
Разрывая,
Я тебя ищу.
Я кричу,
Но разве ты услышишь
Голос,
Индейеющий вдали?
Всё-таки не до конца
Всевышний
Твердь земли
От неба отделил...

* * *

Дай мне слово:
Если в смутие дней
Я уйду отвергнут, не целован,
Никому ни слова обо мне,
Никогда не говори ни слова.
Ну, а если спросят — то скажи,
Что однажды летом, на причале,
Я кому-то плёл про миражи,
А потом... Потом мы не встречались.
Что умом я, в сущности, простак,
Несколько несдержан, инфантилен,
Что стихи писал — но просто так:
Мне за них ни цента не платили.
Говори, что цель моя пуста,
До постыдной жалкости нагая,
И ещё скажи, что я устал,
От себя по жизни убегая.

* * *

Хочется не только сожалений!
Вновь перешагнуть порог избы,
Головой упасть тебе в колени,
Обо всём о пройденном забыв.
Будто ни конца и ни начала
Не было в исхоженном пути,

Будто сердце в горле не стучало,
Выбивая дробное: «Прости».
И теперь глаза в ресницы прячу,
И следы морщинок — в воротник,
Будто я, надорванная кляча,
Вновь могу резвиться, как они...
После дней тяжёлого забега,
После вёрст, распластанных в былом,
Для меня одна осталась нега —
Рук твоих желанное тепло.
И слова, что шепчешь ты, волнуясь,
Западают в душу глубоко,
Словно я попал в страну иную,
Вечно слушать музыку веков,
Ни забыть которую, ни бросить,
Сколько бы ни слушал — всё равно.
Я люблю — когда, лаская проседь,
Ты от счастья плачешь надо мной.

* * *

О, жизнь моя, запутанно-проста,
Да и судьба — ушибленно-простая.
Мечты о счастье и любви
За кромкой льда,
Как пар над пахотой весеннею,
Растают.
И даже сам я —
Час пробьёт когда —
Исчезну,
Как от солнца искра льда.

* * *

Прошу — останься же такой
Какой тебя впервые встретил:
Чуть настороженной, простой,
В июньской жидкости рассвета.
И невпопад на мой вопрос
Ответь — но только не словами,
А блеском набежавших слёз
В души незамкнутом бокале.

* * *

Ах сердце, сердце!
Что с тобою?
Ты — спичка в дождевой ночи.
Прощаюсь каждою строкою
В безгласье гаснущей свечи.

* * *

Вечер. Речка.
Скачут волны,
В белых пеночках они.
Я уйду, как ветер, волен —
Ты рукою мне махни.
Разгони свою усталость
И туман недавних бед,
Чтоб во взмахе том осталось
Всё о жизни и тебе.
Пряжей рук твоих горячих
На прощанье опряди,
Чтобы мог я и незряче
Видеть снег твоей груди
И улыбку...
И, конечно,
Пожеланье — невплопад.
Взгляд печально-подвенечен,
Как осенних рощ опад.
Стань на горке, на вершине,
Не туши печаль души.
Помаши мне, помаши мне
Вслед рукою,
Помаши...

* * *

Я помню: мир притих.
Льёт в окна дождик частый.
И мы вдвоём. И бьёт
По ветру молочай.
Вернуть бы этот миг —
Всего минуту счастья,
Вернуть тебя такой,
Вернуть свою печаль.
Дожди ещё идут.
И стынет даль сквозная.
И, как опавший лист,
Промокшее село.
Ну отзовись, где ты —
И грусть моя, и радость,
Ну оживи на миг,
Что жизнью унесло!

* * *

Дай, обниму тебя!
Мне кажется, опять я

Мимо тебя иду,
Теряя дни.
Дай, обниму тебя,
Пусть первое объятье
Нам две души
В одну соединит.

* * *

Уходит старое, как сгорбленный ворчун,
В забвенье, в море времени. И что же?
Гляжу куда-то мимо и молчу.
Лишь памяти река молчать не может.
Ах, эта память... Ропщет. Но о чём?
Вот чей-то взгляд и горечь губ припухлых.
Вот осень — увяданья кумачом
Заполыхала в утро и потухла...
Потом совсем-совсем чужие лица,
Что станут близкими на много зим и дней,
С которыми придётся мне делиться
Утратами и индевью огней.
И вдруг — провал...
Дорога — не дорога.
И так — до этих пор, до этих мет.
И лишь глаза твои
Прощально, грустно, строго
Глядят в меня
Сквозь расстыковку лет.

* * *

Не говори мне сложно.
Лучше — проще.
И слов ненужных по ветру не вей.
Ведь падает же в осень лист по роще,
И дождь шумит по высохшей траве,
Как первый снег,
Что прилетит, растаяв,
Как тонкий лёд,
Что хрустнет от руки...
Будь, как они — такая же простая,
Обычаям затёртым вопреки,
Чтоб мог и я,
Когда на сердце ветер
И от житейской стыни не до сна,
Уйти в тебя,
Забыв про всё на свете,
Уйти в тебя,
Когда ты вся — весна.

* * *

Давай останемся вдвоём,
Измажем лица земляникой.
Ты мне расскажешь о своём,
А может, просто небылицу:
Об увлеченьях, куражах,
Чтоб всё явилось, как во сне бы...
А можно просто полежать,
Уставясь в синий полог неба.
Потом в зелёной лебеде,
Как будто бы задремлешь даже...
А я тихонечко тебе,
Как тихий ветер, грудь поглажу.
Ты будешь в яви, как во сне
Лежать, как девочка-подросток.
Лишь сердце тукнет чуть сильней...
И будет нам светло и просто.

* * *

Как странно,
Что в полуугасшем теле
Мерцает искрой торжество минут...
Пустыни лет,
Барханы и метели
В моей душе
Твой след не заметут.
Когда уйду
Один по бездорожью,
Когда уйду к закраине пути,
Пусть знают все,
Что даже смерть не сможет
Мою любовь
С собою унести.

* * *

«Не надо прошлого», — ты как-то мне сказала.
Зачем же так? Зачем сказала мне?
Всё пропахал. И вот я у вокзала.
Ни настоящего, ни будущего нет.
Я сяду в поезд и махну рукою.
За окнами забвенье поплыёт.
Прощай, зима! Но навсегда со мною
Моя любовь — нетленное мое.
И если вновь сквозь вёрсты бездорожий
Развернется ненастий окоём,
Мне заслонит судьбы косую рожу
Лицо святое, светлое твоё.

Радуйся, человек

Цикл «Радуйся, человек» необычен в творчестве поэта. Прежде всего, несвойственный, казалось бы, ему способ стихосложения: верлибр. Он появляется впервые в стихах Михаила Сопина незадолго до освобождения из лагерей, в цикле «Радуйся, человек» достигает наиболее полного выражения и потом исчезает вообще, уступая место песенной интонации, размышлению, афористичности, где каждая строка имеет точную рифму.

Нигде больше поэт не будет в такой степени выступать как живописец. По сути, это развернутая выставка картин, набросков, зарисовок, где много звуков, пауз, цвета и света. В стихах совершенно очевидно просматривается город Пермь начала 70-х, ими даже можно пользоваться как путеводителем. Здесь и новая Пермь, и старая, её окраины... «Прикованные к фундаментам домов одиноких гиганты», «лес телевизионных вышек», «бледно-зелёные, красные... бесконечные гирлянды огней», «улица раскололась от трамвайной дуги» и... «у крыльца незнакомого дома дрожат две росинки собачьих глаз». Город фантастический, «лабиринты развалин немых», и всё же автор признается, что он «именно к этой жизни примёрз, как к дереву лист». Обращает на себя внимание повторяющийся образ женщины, идущей за детской коляской — в эти годы у Михаила Сопина родились сыновья. Для большинства неожиданным будет цикл «Детский альбом».

Всё это неслучайно. Впервые после 15 лет заключения поэт получил свободу. Он не просто вырвался из зоны — сменился гражданский статус, семейное положение, всё-всё... И ему хочется увидеть, прочувствовать, запечатлеть эти ощущения, отыскать в новой жизни своё место.

Несмотря на тревожный настрой, цикл в целом светлый, какой-то «ожидающий». Эпиграфом к нему можно поставить оставшуюся на полях этих стихов запись:

«Радуйся, человек. Всё, к чему прикасаешься, сохранит след твоего прикосновения».

* * *

Это — не город.
Это лабиринты развалин немых.
Судьба моя в нём —
Трещина в высохшем илистом дне.



Словно босыми ногами
По стальной пробираюсь стерне.
И бесследны раздумья мои.
И дорога моя далека.
И красные кляксы следов
Уносит ветер
В дрожащих руках.

* * *

Это в меня
Входит город в огнях.
Звёзды светят,
Бьётся ветер,
Падают листья в меня.
Разноголосый грохот буден,
Чёрные воды речки,
Смытый ивняк,
Плачущие и улыбающиеся люди —
Это в меня.

* * *

На мокром циферблате —
Первый час.
Бывают ночи —
Шутят память с нами.
Мне кажется,
Что я иду сейчас
По городу моих воспоминаний.
Иду, и не уверен, что ты ждёшь.
И под шаги слагаю:
«По-до-жди».
И падает такой же точно дождь.
Пусть никогда не старятся дожди.

* * *

Бледно-зелёные, красные...
Бесконечные гирлянды огней,
Рассекая сугробы,
Убегают вдаль.
Тонким слоем лака
На асфальте вода.
Вечер прекрасный.
В зависимости от освещения
Глаза, лица, улыбки —
То синие, то зелёные, то красные.
Порхающие руки,

Словно экзотические птицы,
Не боящиеся людей,
Бороздят разноцветный воздух.
И только в тёмных переулках,
В устоявшихся лужах
Лежат отражённые звёзды.

* * *

Как невидимки,
В тумане
Кряхтят и покашливают машины.
На белой палитре —
Продолговатые жёлтые капли:
Это из невидимого
Рождается крик петушиный.
И нигде,
Совершенно не видно нигде
Ни огней, ни домов, ни прохожих.
Только звуки.
Вот ещё где-то шорох невидимый вырос.
Странно.
Будто присутствуешь
При сотворении мира.

* * *

Взявшись за руки,
Дети идут в своё будущее по паре.
Няни ведут одиночек.
По сухой траве июня,
Мимо деревьев в пыли,
В бензиновом перегаре
Няни ведут одиночек.
Я остаюсь.
Мне ещё нужно одеться,
Сытожить дни и ночи,
Отделяющие меня от детства.
А дети всё дальше уходят,
В пыльный июнь,
Уменьшаясь до разноцветных точек.
Няни ведут одиночек.

* * *

Не разлука страшна мне,
И не то, что однажды
Уйдёшь и больше не придёшь.
И не то, что на камне
Следы твои вымоет дождь.

Совершенно иная
Тревога в груди:
Вдруг совсем не замечу
Потери,
Оставшись один.

* * *

Город — жёлтым пакетом в брикете.
Пыль искрится в лучах косых.
Выхожу на проспект,
Покупаю природы букетик,
А потом отправляюсь искать
Продавца росы
В улицы, в переулки...
Где только я не был.
Позади — расстоянье из вёрст.
Где-то уже светят
Одиночные капли звёзд.
Темнеет.
Чёрный дым переходит в небыль
Из невидимых домен.
Горизонт потускнел и погас.
Гляжу и глазам не верю:
У крыльца незнакомого дома
Дрожат две росинки
Собачьих глаз.

* * *

Я пробиваюсь сквозь туман,
Сквозь света стылый жар.
Стоят скуластые дома,
Бетонно зубы скав.
И в том молчанье,
И в огнях
Не страх и не гроза —
Кричат о помощи
В меня
Их разные глаза.
И сеющий,
Как пепел, дождь —
Как будто в душу дождь.
И не понять —
К кому идёшь.
И всё-таки идёшь,
Наталкиваясь и скользя!
Зовёшь — ответа нет.
По-человечьи — им нельзя.
По-каменному — мне.

Дождь повис
 В асфальт разбитый.
 Тихий полдень.
 Никого.
 Проезжает «служба быта»,
 Словно клоунский фургон.
 Пустоте на удивленье
 Балансируя, гудя,
 Закатило представленье
 «Шито-крыто» из дождя.
 Боком, скоком,
 Влево, вправо,
 Снизу вверх
 И сверху вниз...
 И глядят кусты и травы
 Из-под вымокших ресниц.

В ДОЗОР

Красное солнце.
 Зелёное море.
 Волны, как конница,
 Скачут в дозоре,
 Звёздочки светят
 На гребне папах.
 Вечер.
 И ветер
 Легендой пропах.
 Берег.
 И чаек
 Посвист над ним.
 А море качает,
 Качает огни.
 Гула каскады —
 Далёкой грозой.
 Это эскадра
 Уходит в дозор.

ПЛОЩАДЬ РЕВОЛЮЦИИ

Ни ржанья, ни выстрелов боя...
 Но кажется — лишь обернись,
 И медной измятой трубою
 Рванёт стылый воздух горнист.
 В приёмниках лязгнут патроны,
 И мускулы дрожь продерёт.
 И глотки лихих эскадронов

Раскатят команду: «Впе-е-рёд!»
Тачанки и всадники — мимо,
Знамёна — кровавой грозой,
И рдеет запахнутый дымом
До самых небес горизонт.
А сердце колотит — отчаясь,
Уводит туда, в ураган...
Где в сёдлах,
Ритмично качаясь,
Идёт на рысях арьергард.

* * *

Я заблудился
В фантастическом лесу
Телевизионных вышек.
Надо мной пролетают
Белые тени голосов,
Прерывисто, неровно,
Сквозь бесконечную белую ночь.
Но иногда —
Может, это перенапряжение слуха —
Мне кажется,
Что шаги твои слышу
В озвученном движении Броуна,
Твои шаги...
То приближающиеся,
То ускользающие.
Ты куда-то идёшь.
Ты блуждаешь —
То влево,
То вправо.
И невидимый след твой
Смыывает невидимый дождь
На невидимых травах.

* * *

В пульсирующей галактике человеческих глаз
Искра погасла,
Искра зажглась.
Но меж той и другой,
Междур мной и другим
Сквозь туманность летят
Звуковые круги,
Световые круги,
Чтобы кто-то не сбился с пути,
Чтобы кто-то ответил,
Постоянно летят позывные столетья.
Мы — почти неземные,

И всё же — земные,
Через спутники связи
Посылаем друг другу свои позывные.
И бессонная память
Из-под каски пробитой
С напряжением смотрит
На глобальные
Наши с тобою орбиты.

* * *

Прикованные к фундаментам
Домов одиноких, гиганты
С высоты своих метров
Глядят безучастно,
Как сквозь призрачные пальцы ветра,
Течёт майская зелень
Безмятежно, как детское счастье.
По дороге ползёт фигурка
На трёхколёсном велосипеде
За папой, за мамой,
А может,
За промокнутыми далью
Силуэтами прохожих?
Что её — сегодня?
Завтра её — в чём?
Куда они —
Маленький человек
И велосипед-паучок?

* * *

Сживают осенние стужи
Со света
Короткое лето.
Уехать куда-нибудь мне бы...
Но на кого я оставлю
Зрачки-лужи,
Глядящие остекленело
В холодное низкое небо,
И окна,
Которые отпотели
И, не мигая,
Смотрят на маленьких яблочек
Мёрзлые гроздья,
На позёмки и метели,
Вьющие белые гнёзда
Под ветра протяжное эхо,
Теряющееся вдали.
Нет, мне никуда не уехать,

Никогда, никогда не уехать,
Потому что я к этой жизни,
Именно к этой жизни
Примёрз,
Как к дереву лист.

У ПАМЯТНИКА РОССИИ-МАТЕРИ

(Пермь, воинское кладбище)

Пройдёт не год,
Пройдёт не два,
Всё отгорит —
И сны, и боли...
Но плачет
Память,
Как вдова,
В невыносимо-русском поле.
Сто лет — ни вести, ни письма!
Погибших души откричали.
А ты стоишь,
Россия-мать,
Над полем
Жизни и печали.

* * *

Мне кажется,
Что я из первозданности,
Где светят, словно звёзды, фонари,
И нет маршрутов поисковых партий,
Только что сошёл на материк
С острова,
Какого нет на карте.
Странен, непонятен, необычен
Этот устоявшийся обычай:
Прятать в безразличие ушибы,
Делать и не признавать ошибки.
Веселиться — если в горле ком,
Чтобы потом
С собой наедине выплакаться
Тайком.
Всё заношено.
И всё привычно.
Потому меня, наверное, тянет
Возвратиться в тихие края,
Что скитаюсь,
Как острогитянин...

* * *

Белые заснеженные мили.
Ветры, пролетающие мимо
Окон, где ни света, ни огня.
Ветры, ветры, ветры, ветры, ветры,
Заметая ночи нулевые,
Оседая в теле и навылет,
Беспощадно бьющие в меня.
Лун дозоры,
Хмурых туч наряды,
Сон и память —
Рядом, рядом, рядом,
Словно на завалинке два старца,
Две игрушки в подневольном танце
Кружатся с закрытыми глазами,
Я уже забыл,
В каком столетье...

* * *

Я как в пустыне караван,
Я как засохшая трава,
Как старый и слепой верблюд,
Как брошенной избы уют.
Я новых песен не люблю,
А песни старые забыл.
Меня рубили топоры.
Душа — как стебель без листка.
Потери — высохший арык,
Тропа в кочующих песках.
Сто солнц пройдёт,
Пройдёт сто лун
И столько же веков, и лет.
И я, вмуренный в скалу,
На остывающей земле
Останусь, как дремучесть дат,
Как мир спрессованных минут,
Как у истории в пленау
Последний из живых
Солдат...

* * *

Где мой дом,
Где улица моя,
Сновиденья,
Сказки прошлых лет?
Пляшет —
Вместо дыма и жилья —

Вьюга,
От простора ошалев.
Я живу сейчас в другом краю.
Ты, мой дом,
Не знал таких высот.
Здесь степные песни не поют.
В сотнях окон —
Светят сотни солнц.
Но в траву не выскочить с разбега,
Утопая в росах...
Степь, меня прости!
И, конечно, никакому снегу
Этих изб до крыш не замести.
К запылённым листьями прудам,
Бездорожьем или по дороге,
Разбивая о булыжник ноги,
Я вернусь когда-то...
Навсегда.

* * *

Странным желаньям в угоду
Стою под зонтиком ночи.
Фонаря одинокий комочек
Пьёт из моих ладоней
Стылую чёрную воду.
Отшедшего дня
Вылинял цокот подков.
Мир далеко от меня.
Я от мира далеко.
Так далеко, что не знаю —
Найду ли дорогу назад.
Сквозная, сквозная, сквозная
Тьма застилает глаза.
Но это длится минуту.
Или несколько, может, минут...
Вот я уже различаю,
Как тени чужие качая,
Падает дождь в тишину.

У СПУСКА К КАМЕ

Тучи, как чёрные горы,
В стынищем небе парят.
Чихает простуженный город
Разноцветной листвой октября.
Две серых фигурки у берега.
Вон — мост.
Вон — музей на горе.

И лампочек тусклые серьги
Как будто скучают,
Качаясь в чугунных ушах фонарей.
И так до забвенья пустынно,
И так без конца хорошо,
И я забываю, что стыну
И не помню — откуда пришёл.
Гляжу в эти тёмные волны,
Бегущие в глотку моста,
На храм с головою зелёной,
На жёлтые крылья креста.

* * *

Не кричи, пропадая,
Окраина,
С тихим лепетом трав во дворе.
Зря ты, сердце,
Колотишь затравленно,
От прошедшей весны одуров.
Дом
С разбитыми окнами кривится,
Рядом — новый гигантом встаёт.
Только я,
Как собака на привязи,
Вою в счастье щенячье своё.
Где ты, где ты, родная околица?
Скачет взгляд
По раздавленным пням.
Память
Хрупкими льдинками колется,
Провожая всё дальше меня
За отвалы, за крики бульдозеров,
За деревья, сожжёные зря,
Где, как помнится, в кофточке розовой
Приходила в рябинник заря.

* * *

Постоянно в пути.
Кто-то должен первым встать
И уйти.
Мы — пассажиры, только пассажиры.
Ни о чём не говорит то,
Что рядом места.
Мы рядом,
Но жизни в одну
Никогда не совём,
Как вот эти дождинки,
Которые в окна стучатся,

Скользя.
Замыкаемся —
Каждый в своё.
Улыбаемся —
Каждый в своё.
Потому что иначе нельзя,
Просто непостижимо,
Никак.
Абонементы обезжженных дней,
Как оборванные листья,
Несёт река.

* * *

Подходит трамвай.
Вхожу в вагон.
Почти никого.
Впереди —
Факел женской причёски.
Он такой здесь один.
Интересно,
Он греет кого
Или нет?
«Подойди, подойди
И тепла попроси, —
Кто-то шепчет настойчиво мне, —
Подойди, так бывает...»
Это сам я шепчу своей мысли,
Уехавшей с этим трамваем.
А в действительности — тишина.
И туда, куда нужно ехать,
Ни дороги, ни транспорта нет.
И, пожалуй,
проезд не оплатишь —
Не хватит монет.

* * *

Солнце печёт голову.
Солнце проникает через череп
Вибрирующими спиралями огня.
И от этого
Тысячи солнц в глазах у меня.
Извызывающие тела бок о бок...
Смешиваются запахи,
Киселеют, дрожа.
Это город,
Это не Гоби.
И всё же это — Гоби,
Из которого не убежать.

Вдалеке — зелёный купол храма.
За куполом — небо
В застиранной рубашке дыма.
И крест машет и машет упрямо,
Проклиная далёкое солнце,
Проклиная бездонное небо,
Проклиная горькую землю,
Крест машет руками,
И качается мгла одурманивающе.
И белые бабочки,
Как снежинки,
Пролетают
Мимо вытекших глаз
Одуванчиков.

* * *

То ли кружится мир.
То ли — я,
То ли — вместе мы.
И чем быстрее,
Тем лучше становится мне.
Но где-то бьётся мысль,
Как не заросшее темя младенца:
А вдруг — стержень не пройдёт
Испытанья на скручиванье?
Вижу —
Майская зелень
Мотыльками пепла
Падает на единственную улицу Земли
С названием —
Неподвижность.

* * *

Если я проживу много лет,
Что останется мне от дождя,
Пролетевшего в юность?
Уходя, я унесу
Пыль жизни
В ладонях потухающего сердца.

* * *

По Цельсию — три градуса тепла.
В невидимую стенку бьётся эхо.
Дорога развалилась, потекла —
Ни пешему, ни конному проехать.
Я разложил костиришко на бугре.
Валежник есть,

И благо — роща близко.
Сижу, немного руки обогрев,
Поглаживаю пляшущие искры.
А там, у горизонта, далеко,
Где, прыгнув, зацепился за карниз бы,
На белых парашютах облаков
Плынут, качаясь, маленькие избы.
Зачем, куда спешить отсюда мне?
И город надоел.
И путь неблизкий.
А в этой первозданной тишине
Я слышу
Неподдельный голос жизни.

ЖГУ КОСТЕРОК

Слегка прохладно и темно.
Шурша, ночные тени стынут.
Так ненадуманно, пустынно,
И только небо надо мной.
Промчался филин полным ходом,
Качнув крылом прохладный воздух,
Всплеснув настоящую воду
На отражающихся звёздах.
Дым то уходит, то подходит,
То прячется напротив — в куст.
И пламя, как канатоходец,
Идёт, качаясь, по прутку.

* * *

Ветер поднялся и разорил
В сереньких тучах
Гнёзда зари.
На стылой земле,
Как стайки утят,
Жёлтые листья пьют воздух.
В хмурое небо улетели звёзды,
И только в ночное небо, в чистое,
Они прилетят.
Я делаю первый шаг,
Становясь на ступеньки дня.
Город, как большая шапка,
В зайндевелых огнях.
В хмурую осень
Убегает чёрная «Волга».
Шоссе пустынно совсем.
Вдалеке,
Где тополь разлился синей кляксой,
Я долго-долго вижу маленькую женщину,

Идущую в эту осень
За детской коляской.

* * *

Прополз паучок-буксир —
И следа
Не видать.
Сомкнулась вода.
И опять мы вдвоём на причале —
Это тень привязалась ко мне.
Улыбка луны закачалась
На мелкой речной волне
И померкла.
Стою. И, не видя себя,
Гляжу в неотражающее
Чёрное зеркало.
На правом берегу —
Огоньки, как в селе.
Уйти бы домой,
Но один — не могу.
Подожду, пока выйдет луна.
С тенью идти веселей.

* * *

Случайное небо.
Случайные тучи.
Деревья и руки.
Дорог нескончаемость.
И каждая песня,
И каждое слово,
И каждый мой вздох —
Неужели случайность?
А листья летят
И летят на колени,
Как снег на поля,
Всё пылят и пылят,
На сердце, на память,
Как признаки тленья,
Как признаки тленья
На щёки летят.

* * *

Величественно и гордо
Взметнулась многоступенчатая громада города
С татуировками зелени и транспорта,
Рекламой кино и ресторанов,
Надменного и робкого,

С проспектами и тропками,
Шумом и молчанием,
Радостью и отчаянием.
Каждый день я,
Капля большая,
Из конца в конец
Перекатываюсь по твоим лабиринтам,
Созидаю и разрушаясь,
Ненавидя и любя
Твой дождь и снег,
Плач и смех —
Потому что стал частицей тебя.

* * *

В нашем дворе
Стоит несколько деревьев
Старых.
С каждого из них
Отбираю я листиков пару —
Любую.
Приношу в дом,
Раскладываю, любуюсь.
Отогреваю, даю имена.
И вместе так хорошо нам.
Поглаживаю их. Они шумят.
Разговариваем.
— О чём?
— О многом...
Разве мало о чём могут говорить
Одинокий человек и листья,
Когда в мире так много слов
И так много истин?
Иногда молчим,
Но каждый — доволен.
А потом —
Когда чистое небо, сильный ветер,
Я выхожу на улицу,
Выпускаю на волю.
И смотрю, как они улетают,
Выискриваясь на солнце.

* * *

Улица на миг раскололась
От трамвайной дуги.
И я подумал:
Если бы сейчас закричать,
То было бы видно,
Как улетает голос.

О эти мгновенья!
Разве,
Разве они повторимы?
Всё сомкнулось.
Иду между разумом и чувством,
Как между Сциллой и Харибдой.

* * *

Когда ты говоришь
Об этом или о том,
Или смеёшься,
То волны смеха
Не умирают ни сейчас, ни потом.
Они навсегда
Остаются в бесконечности
Блуждающим эхом.
Дыхание, вылетающее из груди,
Не исчезает,
Превращаясь в нечто тленное.
Нет — материализуясь,
Оно занимает своё место
В постоянно обновляющейся таблице Вселенной.
Не дари, не дари
Неправдивые вздохи
И пустые слова.
Я прошу —
Не спеши говорить.

* * *

В небе —
Полоса из чего-то синего.
Бесшумное утро.
Рано.
То здесь, то там
Неподвижные краны
Стоят, как одинокие фламинго.
Но вот постепенно
В улиц проруби,
Ещё не вспененные
Транспортом городским,
Вливаются робы,
Пальто,
Фейерверки разноцветных платков,
Шапочек искривленья,
Сталкивающиеся
И разбегающиеся по всем направлениям.
Город, как брошенный в воду камень,
Расширяет за кругом круг.

Вздыхают лачуги,
Вздрагивают этажи.
Начинаются безмолвные встречи глаз,
Касания рук.
Так продолжается жизнь.

* * *

У подъезда
Серая кошка
Пинает бумажный мячик.
На осенний прилавок
Полдень
Медных листьев бросает сдачу.
И бежит, торопясь куда-то,
По натянутым проводам
Над киосками, над дорогой
Дождевая вода.

* * *

Наши сделки и торги,
Утвержденья в правах,
И немые восторги —
И пустые слова —
Всё, что видим и слышим,
О чём говорим мы —
Это жизнЬ,
Уходящая в неповторимость.

* * *

Визг тормозов, лязги.
Между дымных тормозов и виньеток
Маневрирует женщина с коляской,
В которой покачивается девочка
С древним именем —
Планета.
Вечереет.
И ветер лязги
Сметает,
Сквозь заросли дуя.
Катится божьей коровкой коляска.
Женщина прядёт пряжу раздумий.

* * *

Я люблю
Улыбающихся пенсионеров.
Их улыбки —

Голубые гвоздики
Среди белой спокойной зимы,
Зацепившейся за палисады.
Даже след набежавшей досады
По-особому как-то
В морщинистых лицах размыт.
В их улыбках
Случайной обиды и радости
Нет.
В их отмытых глазах —
Небосвод и земля,
Океан и причал,
В их улыбках я вижу
Движение судеб и планет.
В их улыбках —
Извечная слитность концов и начал,
И святая усталость,
И великая мудрость пути.
Их улыбки —
Дождинки на жёлтые листья
И крик улетающих птиц.

* * *

Мы все на земле не случайны.
Мы все на земле чрезвычайны.
Единственны, неповторимы,
От реплики до пантомимы!
Улыбок мгновенных снежинки,
Слетающие в недожинки.

* * *

Дома, дома, дома.
И в них
Вписаны разноцветные треугольники,
Параллелограммы, пирамиды.
Это в окнах
Горят огни.
Мои братья,
Делящие со мной
И с живущими
Ночи и короткие зимние дни.
И всё-таки я их люблю,
Как память,
Как деревенские избы моего детства,
И от этого никуда не деться,
Потому что когда я гляжу
В них сквозь вечера пепельную жижу,
Мне кажется —

Я гляжу в грядущее из былого,
В фантастический мир,
В котором окна домов
Уставились в знойную пустыню времени,
Как в солнце
Овод.

* * *

Шагаю, шагаю
В густых,
По-ночному прохладных потёмках.
Скамейки — как ведьмы.
Никого больше нет.
Одиночество улицы
Я в ладони беру, как котёнка,
И оно благодарно о чём-то мурлычет мне.
Так мы идём.
Светофор, словно цапля у перехода.
Трамвайные рельсы —
Как в дождик тропа.
Серым мячиком
Прокатился вдали гудок парохода
И в прорубь молчанья упал.
Ветви рук моих гладят
Расстоянье —
Между мной и небом —
Всё гладят и гладят, не глядя.

ЛЕТИТ И НЕ ПАДАЕТ СНЕГ

По улицам
Свет близорукий.
Случайные призраки встреч.
И странные синие звуки,
Живую обретшие речь.
Смешаются люди и тучи.
И ветер —
Как мокрая плеть.
И всё-таки,
Как разнозвучно
Звенят тополя в гололедь!
Качаются бледные тропы —
Вечерние светят огни.
О чём ты,
Души моей тополь,
В раскатную наледь звенишь
То весело, то обречённо?
И медленно —

Будто во сне —
Бесплотный
От сумерек чёрных
Летит и не падает снег.

* * *

Не думал никогда,
Что ты вернёшься
В вихре пылинок
Из солнца, времени и земли.
Одолимо, но длинно
Кажется мне всё —
От разлива рожденья
До того, что иссохлось в ручьи...
Потерялось, забылось
И где-то осталось ничьим.
Разве можно придумать,
Разве мог я подумать
И тогда, и когда-то ещё,
Что из радуги времени, солнца, земли
Уже падают первые признаки тленья
На незрелые яблоки щёк
Из снегов, из дождей,
Из травы, из земли, из камней...
Хорошо, что пришла ты,
Пробилась ко мне.

* * *

Прошёл только год.
Пересохла, растрескалась и огрубела
Такая живая,
Недавняя память во мне.
И новое что-то
Метелицей тополя белой
Клубится навстречу
По улице,
Где никого уже нет.
И я не спешу никуда.
В одиноком пространстве
Могу до забвенья
В ночной погружаться июль.
Во имя шагов,
Городских заколдованных странствий,
Как пух тополёвый,
Роняя обновку свою.

Детский альбом

СОЛНЫШКО

Мама, слышишь,
Мама, слышишь,
Погляди, иди скорей:
Солнце прячется на крыше
У соседей на дворе.
В золотистой паутине,
С голубым околышем...
Мама, мама, ты купи мне
Маленькое солнышко!

МЯЧ

«Ни перекрёстков, ни поворотов —
Какой огромный зал!» —
Думает мяч большеротый,
Удивлённо раскрыв глаза.
В лицо ему падает дождик.
Вот окнами дом подмигнул.
И хлопают листья в ладоши
Отчаянному бегуну.
«Пинайте, — кричит он, — получше!
Хочу добежать туда,
Где радуга волосы сушит,
Рассыпав их на провода»

ДОЖДИК

Мы сегодня — я и брат —
Сядем у окошка.
Нынче дождь идёт с утра,
Серенький, как кошка.
И деревья ветру вслед
Кланяются шатко.
Жёлтый листик на ветле,
Как звезда на шапке.
Это очень хорошо,
Даже очень-очень:
Дождик рядышком пошёл.
Рядом,
А не мочит.

Перед снегом, ещё не упавшим

Сборник, стихи из которого представлены здесь, относится к концу семидесятых — началу восьмидесятых годов, не опубликован. Новым состоянием души Михаила была песенная возвышенность, эмоциональный взрыв, с помощью которого он пытался вырваться из удушающей действительности. Будто шаманит поэт, заклиная себя в чём-то... Вера свою в Россию заклинает, любовь к ней, потому что без этого и жить-то вроде незачем, и всё это очень серьёзно:

«Я Родину защищал и от неё страдал». Эйфория на краю пропасти. Жёсткость и твёрдость формы, точности, афористичность придут потом. Михаила будут называть «мастером короткой строки». А здесь он — как волна на подъёме, когда сквозь её зеленоватый гребень просвечивает солнце, багряное, как кровь...



* * *

Золотая
Российская
Россыпь!
Отыщите
Те капли в дождях,
Что раскатятся
Звонкоголосо,
На равнинный простор
Выходя.
Помоги
Благодатному свету,
По родимой земле
Поспеши!
Есть они —
Позывные поэтов,
Напряжённая песня души.

* * *

Вылетай,
Моя песня,
На волю!
Передай, что я жив и храним.
Мой поклон —
Всем погибшим
И полю,
И народу родной стороны.
Мою чистую, светлую радость —
Ветрякам,
Всем избушкам, ручью!
И ещё передай,
Что неправда,
Будто песен о них не пою.
Я пою,
Не считаясь с погодой,
Белым днём,
По бессонным ночам,
И врачи — мои лучшие годы —
Наотрез запретили молчать.
Обещаньями шибко не потчуй,
И, с меня не снимая вину,
Объясни,
Что, мол, трудно на почте...
Но — придёт.
Больше ждали в войну.
Улетай.
Знай,
Душою я чистый,
Как степная весенняя ярь!
Если кто-то в метель постучится,
Пусть откроют.
Там — песня моя...

* * *

Поля, поля — простор осенний рыжий!
На перекрестье верба — как вопрос.
Я в этом поле умирал и выжил,
И навсегда корнями в землю врос.
Люблю я вас, соломенные крыши,
Май расписной, наливчатый июль...
И кроме песен, что я здесь услышал,
Я ни слезинки лишней не пролью.
Когда-то, знаю, в шумном половодье
Через меня прольются корни ив.
Но верю в жизнь, которая проходит,
Как будут верить правнуки мои.

Поля, поля — распахнутые настежь
Всему, что будет, есть и что прошло!
Простите мне случайное ненастье.
Спасибо вам за хлеб и за тепло.

* * *

Прокричи мне, филин,
Ночью.
Крыльями ударь!
Под ногами —
Хлябь да кочи.
И не звякнет в колокольчик
Над болотиной звезда.
Ни покоя,
Ни погоды.
Ни тропинки,
Ни лица.
В глубине какого года
В чёрном небе,
В тёмных водах
Ветер символы выводит
Без начала, без конца?
Это я
Хожу счастливый
По неведомым ночам!
Это я играю в ливни
Колокольцев на плечах!
Я — свободный шут России
По призванию!
В бубенцовые осины
Перезваниваю...

СТАЯ

Над хмурью изб,
Немой болотной чернью,
От городов —
Куда-то стороной —
Летели птицы
Над землёй вечерней.
Летели птицы
Над моей страной.
Остыл октябрь.
Над степью моросило.
Терялась вдаль
Безлюдная тропа.
В последний раз
С отчаянною силой

Качнулся крик над степью.
И пропал.
И стало тихо
Под небесной далью.
Так тяжело,
Так пусто стало вдруг —
Как будто бы
Не птицы пролетали,
А стая лет,
Качнувшись на ветру.

* * *

Отзовись,
Я прошу тебя,
Детство!
Крик разбрзлся.
Пропал. Не помог.
Чем сильнее
Пытаюсь взглянуться,
Тем чернильнее
Заливь дорог.
Что ты ищешь там,
Память,
Незряче?
Подскажи ты ей,
Сердце,
Скажи,
Не найти —
Это вовсе не значит
Сочинить себе
Новую жизнь.
Сколько было
Испито и спето
С сумасшедшей
Судьбою на спор!
Сколько было огня —
Столько света,
Что душа,
Как ожог
До сих пор.

* * *

Не нужно путевок.
Не надо мне дачных имений
И в бархатный месяц
Не надо билетов на юг.
Я сказочно счастлив,

Что место под солнцем имею,
К превратностям жизни
Привычную песню мою.
Куда — от себя?
На каких скоростях пролетели!
В наш век — на колёсах —
Отыщешь ли новых друзей?
А я по околицам,
Жёлтой осенней метелью
Лицо умывая,
В закатный вхожу Колизей.
Я этого мира —
Поклонник, певец и рабочий.
Из ветра и звёзд
Заварганю настой в котелке...
С колосьями,
Птицами, пылью,
Травой у обочин
Мне тысячу лет
Говорить на одном языке.

* * *

Не отведи
От горьких мук,
От тягостных поклаж.
Тепло моё отдай тому,
Кто в жизни без тепла.
А упаду —
Ты и тогда
На помощь к тем спёши,
Кто затерялся в городах,
Кто позабыт в глухи.
Через ненастья всей земли,
В родную сторону,
Дай Бог мне тысячи тревог,
Дай Бог мне тысячи дорог,
Сошедшихся в одну.

* * *

Тих мой голос.
И немощна песня.
Не для вас ли
Я пел и пою!
Города и недальние веси
Не рассыпали песню мою.
Я не знаю,
Что дальше случится,

Как придётся свой век доживать...
Не пинайте
Ни зверя, ни птицу —
Может, в них моя песня жива.
Угадайте их души сквозь вещи!
Будьте добрыми
К ним и к себе.
Им ведь нужно
Немыслимо меньше...
Как и мне
В несуразной судьбе.

* * *

Всё обречённее и глуше,
Как дождь в последний обмолот,
Я слышу тихий плач лягушек
Перед погибелью болот...

* * *

Скажи мне, чёрная река,
Ты видишь больше,
Больше слышишь.
Зачем убили облака,
Золой упавшие на крыши?
Пожар промчался.
Ураган прошёл,
Не встретивший препятствий...
По омертвевшим берегам
Стоят деревья
Как распятья.
И отвечала мне вода
Глухим, густым,
Тяжёлым всхлипом:
«Друг-человек пришел сюда...
Кто знал, что друг приносит гибель».
А я стоял.
Чего я ждал?
Всё было горестно и поздно.
Сомкнулась чёрная вода,
Не отражающая звёзды.

* * *

Избы-избы,
Милая Отчизна!
Хлебные степные хутора!
Скоро вас

По древности отчислят,
Разнесёт
Бульдозер или кран.
Видно, ваши окна отглядели
В даль полей
И в переливы звёзд,
И в дорогу,
Что от колыбели,
Не пыля, уходит на погост.
Но всегда
За скрежетом и визгом,
Напряжённый устремляя взгляд,
Вижу я кочующие избы
Сквозь метели
В дальние поля.
Скоро, скоро
Хрип болот осушат.
Всё скуёт бетонная плита.
Но над степью
Будут ваши души
В феврале метельном пролетать.
Будут биться
Под чужие крыши
Птицами из сказочной страны...
Вот они!
Мне кажется,
Я слышу
Голоса
С подвьюжной стороны...

ДЕТСТВО

Как хорошо,
Что вы стройны,
Леса,
А вы бегучи, реки,
Той незапятнанной страны
Во мне,
Запятнанном навеки.
Кружитесь, вербы, на бегу!
Вы мне дороже всех сенсаций.
И счастлив я,
Что вас могу
Душой запёкшейся касаться.
И облака —
За рядом ряд...
И крыл в ночи тревожный лепет!
И эти звёзды,
Что горят
В невыносимо русском небе!

Туманные холсты дорог.
Обитель тихая, глухая.
И где-то филин —
Ох да ох —
Перекричит и затихает...

* * *

Свистнула
В ночь электричка.
Вскрикнул
И скрылся ивняк.
Что же в ночной перекличке,
Что так тревожит меня?
Тень на невидимых лыжах
Едет бесплотно, легко.
Лунное полымя лижет
Серый прозрачный покой.
Всё беспредметно и хрупко.
Как неживая — вода.
Вытяну в лунное руки —
И ничего не видать.
Ни суеверий, ни истин...
Только вблизи и вдали
Белые плавают листья —
Лунной страны корабли.
Видимо, так это надо:
Всюду, куда ни пойду,
Листья крестовые падают
В призрачном
Лунном году.

* * *

Люблю
Ночных певучих див!
И сказы
Богатырских елей.
Степные грозы
И дожди,
Что сорок лет назад шумели.
И колокольный звон в ночи,
Что катится и колоколит,
И задохнётся, замолчит
Равнинным перекати-полем.
В такую пору
Быль и явь
В душе —
С устроенною силой!

Всё это — Родина моя,
Всё это — музыка России.
И разорвётся ночь степей!
И лунный свет зальёт колодцы...
В такую пору
Нужно петь,
Иначе сердце разорвётся.

ТОПОЛЁВЫЕ ХОРЫ

По созвездьям весенних проталин
Скачет в лужицах
Маленький март.
За туманами —
Светлые дали.
А за светлою далью —
Туман.
Бездорожье судьбы.
Бездорожье.
Но едва отступает зима,
По проталинам
Жизненных стёжек
Моих песен шумит синий мак.
По просёлкам,
Под дождиком частым,
Под рассыпанным трепетом лет
Пробивалось нелёгкое счастье
На распаханной телом земле.
Помню всё.
Каждый звук.
Каждый шорох...
И душой припадаю к нему.
Мне звенят
Тополёвые хоры,
Как не будут звонить никому.

ЛИСТЬЯ ЗАПОЗДАЛЬЕ

Запоздалые
Листья в слезах.
Запоздалые слёзы в глазах.
А зачем —
Разве мы поезда,
Разве можем в пути опоздать,
До предела зажать тормоза,
Отдохнуть
И вернуться назад?
В наши окна стучат октябрь —
Отвори, отвори, отвори!

Тихо рощи шумят у дорог,
Золотое роняя перо.
Здравствуй, осень по календарю!
Скоро, скоро окно затворю,
Перед тем, как шагнуть за порог,
Золотое оставлю перо.

СЕВЕР

С пригорка спускается вечер,
Смывая стога на лугу.
Деревья,
Как чёрные свечи,
Горят на текучем снегу.
Недолго осталось до стужи.
Я вижу,
Шагнув за порог,
Снегов голубеющий ужас
Над дрожью травы и дорог.
Что пело, шумело когда-то,
Подмяло. Смело. Унесло.
Одни только серые хаты
Да сонная хмаря над селом.

МЕТЕЛЬ

Далеко ли я уехал —
Кто ответит:
Призрак? Эхо?
За железной полосой
Даль косая,
Снег косой.
День размыт ли,
Вечер смазан.
Свищет ветер
Как бандит!
Да изба
Циклопьим глазом
Сквозь меня и снег
Глядит.
Непонятно, чёрт возьми —
То ли вижу,
То ли снится,
То ли в жизни-небылице
Сам я смазан и размыт.

В СТЕПИ

На ресницах —
Гроздья льда.
Ледяные рукавицы.
И дороги не видать.
И нельзя остановиться.
Вечер.
Неба серый холст.
Ледяное эхо веток.
Прокричишь — и нет ответа.
Стылый ветер.
Снег сухой.
А вдали-вдали-вдали...
За барханами барханы:
То ль собаки забрехали,
То ли волки где прошли.
Пробирает до костей
В круговую-в круговую!
В снеговую-снеговую
Лечь бы в белую постель.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Ты усни.
Мне сегодня не спится.
Вот растает
Судьбы моей снег,
Я спою тебе песню о птицах,
Что живут и поют
Лишь во сне.
О дорогах равнинных зелёных —
Я из детства с собой их принёс.
О чужих
Заблудившихся клёнах
В гололедице северных звёзд.
Всё проходит.
Пройдет непогода.
Отдохну от февральской тоски
И придумаю лучшие годы,
Если не было
В жизни таких.
Баю-баю.
Укутайся плотно.
Месяц
В тучи уходит в окне
И плывёт,
Словно жёлтая лодка,
В ледяных берегах моих дней.

НИТЬ

Далеко-далече
Месяц колесом.
Дух от русской печки
Кличет в тихий сон.
Кот наставил уши —
Мышка, что ли, где...
У окна — старушка.
Перед ней — кудель.
— Бабушка Наташа,
Вы ж совсем одна,
Для чего вам пряжа,
Для кого она?
— Не могу без толку,
Жизнь прошла в труде.
И опять умолкла.
Знай прядёт кудель.
И вздохнёт украдкой,
И качнётся тень...
За окном, за хаткой —
До небес кудель!
Километры ситца
Яростно-свежи!
Ниточка струится
Светлая, как жизнь.

* * *

Счастье — словно заняли:
Прилетит украдкою:
То ли — наказание,
То ли — радость краткая!
То ли в поле скошенном
Бредит дождь шальной...
Да не всё ль ровнёшенько,
Да не всё ль равно?
Вышли други в недруги,
Ошалев от зависти:
К сожалению, нет других
Привязей и завязей.
Эх, тропа-дорожечка,
С ветрами-побоями!
Потерпи немножечко:
Буераки, сбоины.
Мне ль жалеть, мне ль хвастаться?
Наше ль дело плёвое?
Не для нас ли ластятся
Ливни тополёвые?
Огоньку случайному,

Радости с горошину
Улыбнись — печальному,
Помаши — хорошему.

* * *

Порой себя не мучаю —
Зачем метелей шёлк?
И по какому случаю
Я в этот мир пришёл?
Зачем по снегу клюквины?
Закона манекен?
Зачем уйду отлюбленным
И не узнаю — кем?

ПЕРВАЯ ЗВЕЗДА

Вот и сумрак
В окошке открытом.
И над степью
Не видно лучей.
Скрипнул ветер
Осенней ракитой —
Для кого,
И о ком,
И зачем?
Даль равнинна.
Не видно прохожих.
Поздний вечер
Безоблачен. Тих.
Роковая
Звезда бездорожья
На моём
Серебрится
Пути.

* * *

Ты расти, трава,
Вдоль колей.
Норовят сорвать —
Не жалей.
Ветры чёрные —
Ты к земле.
Белу ворону
Спой вослед.
Всё равно шумишь,
Как и мы,
До седой зимы,
До зимы.

* * *

Земля, до жгучести родная!
Благодарю за благодать!
Я ничего в себе не знаю
И не узнаю никогда.
Ты улыбалась тайной мима
И превращала злато в прах...
И цель твоя неуловима.
И непонятен смысл утрат.
Когда бывало в жизни круто
(Казалось, путь свой завершил),
Твои обугленные руки
Касались индеви души.
Ты — моя воля и неволя.
С твоей таинственной судьбой
Иду по жизненному полю,
Прощаясь с полем и собой.

* * *

Прокричит ли сова —
Крик качнётся
В ночи
Невидимкой...
Ощущая миры,
Я у звёздного греюсь огня.
И откуда —
Кто знает —
На звёзды,
На крик полудикий
Вдруг откликнется что-то,
Чего без души не понять.
Скучно жить на земле,
Календарные листья листая.
Сорван лист —
Кончен день.
Кончен день —
Отрывается лист.
Потому и бегу
Я вослед ускользающей тайне,
На земные призывы
Печалью отмеченных лиц.

У КРАЯ ОБНИМИ

Романс

Кого я жду?
Чего я ожидаю
На жизненной и поздней полосе?

Совсем один.
Луна немолодая
Да ветра шум
В нескошенном овсе.
Утратно так....
Но о какой утрате
Я укоряю жёлтый свет луны?
На нём одном,
На жизни млечном тракте
Мои невстречи определены.
Кому кричу,
Шагнув за край свой звёздный:
— На миг, на миг,
Остановись на миг!
Не всё ещё —
Почти —
Ещё не поздно...
Есть я и ты.
У края обними.

* * *

Перед снегом,
Ещё не упавшим,
Перед страхом
К размытым ночам
Я стою
Над бегучестью пашен
В предпоследних
Прощальных лучах.
Свет вечерний
Щемящ и отчаян
На истоптанных днях октября!
Неужели земные печали
Так когда-то во мне отгорят
И сотрутся —
Ни пыли, ни боли,
Ни мольбы,
Устремившейся ввысь,
Над озёрами жёлтых околиц,
Над землёй,
Где без нас обошлись.
Ничего,
Всё ж мы были на свете!
И вдыхая до слёз его ширь,
Я любил в нём такие соцветья,
Что росли
Над обрывом души.

Я — ОСЕНЬ

Ты не бойся...
Не бойся, не бойся!
Ветер
Гонит стога на угон.
Так доверчива
Только лишь осень
Незадолго по первых снегов,
Незадолго
До яростной выбели —
Когда нечему
Стыть и болеть!
Мои росы
Рассветные
Выпили
Табуны необузданных лет.
Это я
Обожжёнными листьями,
На излёте в бездонную чернь,
Прилетел к тебе
Издали-издали
Огоньком
В ядовитость ночей.
Я принёс тебе
Шёпот колосьев,
Неразбавленный запах с лугов!
Не колечко на палец...
Я — осень,
Бесконечность
Равнинных снегов.

Успокойся!
Я не болен.
И судьба моя легка.
Это ветер в белом поле
Одиноко колоколит
В снеговые облака.
Успокойся-успокойся,
Не зашторивай окно
В этот вечер,
В нашу осень,
В нашу вымерзшую озимь...
Нам другого не дано.

* * *

Ветер крикнет как филин.
Накричит непогоду.
И качнутся дымы.
И снега заметут.
Я пройду-пропаду
За земным гололёдом,
На закованном поле,
В багровом снегу.
Обернусь, уходя...
Станет горько и страшно
За скучное тепло,
Песни гроз и лесов.
Для кого-то останусь
Лишь притчей вчерашиней.
Для кого-то —
Как пух тополей, невесом.
Для тебя —
Прорасту на забытых покосах,
Прошумлю в небеса
Пожелтевшим быльём,
Что любил я страну,
Где кричал безголосо
От её доброты
И печалей её.

* * *

Я живу — как во сне.
Я уйду — словно снег...
В первый раз обману
И тебя, и себя,
Что с дороги свернул
В неоглядных степях,
Что бродил-колесил
По родимым местам,
По великой Руси,
И в дороге устал.
Что душой я не здесь:
Далеко, высоко!
А в глазах —
Эта резь
От зыбучих песков.
А искал я одну
В своей жизни весну,
Но теперь отдохну,
Ненадолго усну.
Я прожил — как во сне,
И уйду — словно снег,

Как уходят ручьи
Вешним полем ничьим...

* * *

Капель роняют провода.
Последний лист пожух.
Во след размыившимся годам
Я слова не скажу.
Войдя в заснеженную муть,
Под стать моей судьбе,
Я молча руку подниму —
Туда, где нет небес.
За то, что дальний звёздный свет
Мне столько лет не гас.
За то, чего в помине нет —
Снега, снега, снега.
Из глубины,
Где нет минут,
Нет света, нет огня,
Живущим —
Руку протяну
Туда —
Где нет меня.

Агония триумфа

Поэма

1.

Да, есть страх,
Есть ответственность:
Вдруг я о чём-то забуду,
А потом обленюсь,
А в душе, в глубине — отрекусь!
В безымянных степях
Голубые глаза незабудок
Тех, с кем хлеб я делил.
Откажусь — не прощай меня, Русь.
Здесь я в детстве летал!
И в нежнейшем ракитовом лепете
Есть мой радостный голос.
Так больше теперь не поют.
Злые силы меня превратили
В ослепшего лебедя
И пустили на волю,
Навек осквернив мой уют.
Запах жёлтых ракит...
Перед вечными, может, метелями...
Мой загубленный край,
Всё изведав, меня ты поймёшь!
Для кого над землёй,
Окантованной пихтами-елями,
Знаки тайные пишет,
Шипя, по периметру дождь.
Провожая в полуночь,
Сычи мне вослед чутко охнули.
А потом далеко-далеко,
Будто выплеск крыла,
Прошумело, прошло,
Словно дождь за железными окнами:
То ли сон, то ли явь.
Может быть, это жизнь и была?
Время жёлтых ракит.
Как мы поздно становимся мудрыми,
Так нелепо приветствуя
Мыслей не наших полон.
Лики храмов бревенчатых,
Вслушайтесь в голос заутрени:
Возвратилась душа моя к вам

На последний поклон.
Отрыдать, отмолиться
За всех и за всё.
Вы ведь знаете:
Вечность неба и воля,
И крылья спасали меня.
А глухие сердца
Не сумели расправиться с памятью —
Чем я жил и живу,
Буду жить до последнего дня.
Через тысячи мук,
Через множество лет ожидания,
Через тундровый наст
Сердце чуяло травный укус...
Не казни — не зови меня
В близкое давнее-давнее,
Где так нежно и жутко,
Так легко и так тяжко жилось.

2.

Тени снов — ребятишки,
Под радугой — солнечнотельые!
Поразительность вечности.
Миру — ни края, ни дна.
Облака над горой
Развернулись хоругвями белыми.
Поезд, в вечер въезжая,
Дал голос у Песочина.
Ах ты, прошлое,
Степь моя — тропка, бегущая ровненько.
Загоришись, закорчишись —
Стали лицом мы к войне.
И кусками, стоп-кадрами
Рвётся и крутится хроника,
Чёрно-белая лента
Моих полыхающих дней.
И осталась за кадром
Изба, где певали по вечеру
Серебром голосов
О замёрзшем в степи ямщике.
Я бежал под навес,
И лошадкины губы доверчиво,
Согревая теплом,
На моей замирали щеки.
Перед тьмой грозовой...
Смолкла песня.
И лязгнули траками.
Взрыв округу потряс:
Рухнул храм.

Пала пыль по росе.
И пошла моя жизнь по околицам
Да буераками,
От казённых вожжей
Резко взяв стороной от шоссе.
Сорвалось, промело...
Сколько лет было лютых и снежных!
И ловил я в снегах
Позывные из детства: «ку-ку»...
И у печки в бараке
Полынная блазнилась нежность —
Как в далёком былом
Яровой стебелёк на току.
От звонка до звоночка
Оттопал, проползal, проехал —
Сиротой беспризорной,
Разгвазданный болью войны.
Отпусти, отпусти,
Не зови меня,
Чёрное эхо,
В две ушедших навек,
В две навек дорогих стороны.

3.

Я едва согреваюсь
У вьюжного белого полымя,
Правым боком припав
К продувному судьбы пустырю.
И поёт мне метелица
Голосом дикого голубя,
И с замёрзшей улыбкой —
Не помню уж сколько, стою.
Где вы, други мои,
Беспризорная вольница пашен?
Между детством и старостью
Вбуханы годы — не в счёт.
Перед жёстким законом
Уж больше руками не машем,
Лишь
Меч времени
Головы белые наши сечёт.
Всё плотнее метель.
Всё теплее ловлю колыбельную...
И хочу, чтоб так длилось.
И ветер прошу:
«Ты подуй».
И зелёной звездою
Снежинка в ладонь мою белую
Опустилась, как с ёлки,

В туманно-буранном году.
Так вручила мне Родина
Чашу надежд и страданий.
И сказала без слов:
«По делам твоим, сын мой, испей —
За добро, за расправу
Над братьями и над стадами,
За дурман родников,
За хлеба ядовитых степей».
Экипажи России,
Во мне ещё кровь не остыла.
Поднимаясь, быть может,
На свой предпоследний бросок,
Салютует вам, братья-славяне,
Поэт, смертник фронта и тыла!
Сердцем к сердцу — я с вами,
К виску прижимая висок...
Перепахано траками жито.
И рваное солнце.
Миномётные взрывы
Отсекают подходы к холму.
Нервной цепью, без крика,
Сутулясь, бегут рокоссовцы.
Бьют лениво МГ
По последнему...
По одному.
Вот за вас пил сырец
Я, пацан, на расстрелянном поле.
Всё в груди. С этим жить мне
До точки, до смертного дня.
За Победу, солдаты!
Я знаю:
Не выйдет без боли.
За Победу,
Солдаты,
Со мною и после меня.
Так и только — на равных,
Без скотско-лакейской морали:
Самокруточка — «сорок»,
По фляге глоток — пополам.
Нас по поздней морали
Не раз и не два обокрали
Грязью чистых анкет,
Дефицитом любви и тепла.
Подсобить? Погодим.
На расправу — гуртом, как на вече.
Неизменный наш почерк
Или путеводная нить?
Признак нашей любви —
Неуёмная жажда увечий:
Лишь добив до конца,

Начинаем жалеть и щадить.
К вам мой голос, потомки,
Сейчас, в лихорадочном спринте,
Всё по той же системе
Ведут словоблуды войну.
Продолжающих жизнь
Заклинаю:
Холопство отриньте,
Чтоб не мыкать сынам
Тягомотную нашу вину.
Однолюбы судьбы,
Огневые солдаты и дети,
Забинтованный болью и памятью,
Чтоб не реветь,
Я прощально машу вам, родные,
У края столетья,
Провожая себя
Со штурмгруппой
Идущих на смерть.

4.

Всё осмыслить хочу,
Разглядеть сквозь бинты декабряй:
Как героика масс
Превращается в общую робость?
Неужель по команде:
«Зло кончились! Будьте добрей!»?
Можно вывеску «Рай»
Нацепить на духовную пропасть?
Вот за то, что не слеп по команде —
Стал тенью от века.
Не заплатят семье.
Путь мой жизненный не уследят.
К покаянью души
Я годами иду в свою Мекку
Одиноко и молча,
Как пропавший без вести солдат.
Слышу голос небес.
И молчанье истерзанных всуе,
Колокольные звоны,
Библейскую грусть алтаря.
Слышу вечное:
Да. Побивали камнями безумье,
Топорами, свинцом,
В совершенстве безумье творя.
Так вот нас и мело,
Озверелых от фронта и тыла:
В сорок клятом и в том,
В захлебнувшемся кровью году...

Откровенье — возмездье:
За всё, что тогда не добило,
Добивает теперь
У беспамятных масс на виду.
Как тогда в декабре,
Где просил я теплом поделиться:
Но лишь пела метель
Безнадёжно, безумно, бело.
В доме смех и вино.
Цвет червонный на праздничных лицах.
В двух шагах от тепла
Смертью белой мне в сердце мело.
И рукой по стеклу я ударил —
Не этим ли спасся?
Резкий пьяный фальцет
Бросил свите команду: «Ату!»
Полыхала позёмка
По широким по красным лампасам.
Согревалась душа,
Ощущая пинков «теплоту».
Неуютно мне, думы.
Упал бы в декабрь, холодея.
Улыбался... Заискивал...
Я и они — экипаж?!

Разделила сперва,
А потом предала нас идея.
Ну а мы, в свой черёд:
Но что выжглось в душе — не предашь.
От снегов, что летят,
Торопясь к нам ко всем на поминки,
От уральских и прочих
Ещё не оттаял мой чуб.
Птицы каторжных мест
Плачут выногами душ из глубинки.
Дай мне, Господи, силы.
За всех отмолиться хочу.
Иван-чаем крутым
Зацвели наши ахи и охи.
И сегодня любого
О военной шпане расспроси,
Без раздумий ответят:
«Больная гримаса эпохи,
Плаха с колом осиновым —
Место для них на Руси».
Ни конвойного мата над нами,
Ни пёсьего лая.
Не скучи, моя боль.
Не впервые от нас отреклись.
Не нацистам лишь только
Бросали детей на закланье —
За оградой державы

Жрал гулаговский нас реализм.
Если всё ворошить
Для рассмотров-реабилитаций...
Надо тысячу лет.
Край и общество братских могил!
Сколько нас перебито
На рынках, в подвалах, у станций,
По закону и без,
На вселенском распутье туги.
Убиенным, гонимым
Открывают вам счёт
Эти строки.
И сегодня их памяти вечной
Взметнулся мой стяг:
Не на всех я ещё
Разослал в белый свет похоронки,
Отгорел в этой жизни
Ещё не за всех я бродяг.
Дорогие мои,
Я беспамятством массы стреножен.
Сколько хлама-бездушья
К родному подгёрло двору?
Те — с хулой, те — с хвалой,
Непреклонною и непреложной.
Ну, вперёд, моё сердце!
Не время ещё в конуру.
«Непущателей» вой.
Отвоёвана самая малость.
Запретителей рёв —
Сей багажник копился не год.
Но бреду потихоньку —
Оглобля б в пути не сломалась!
Крут подъём.
Круче спуск.
И арба с перекосом идёт.
Нам разбриться — что плюнуть:
Споткнись — и на скальник, под кручи...
Стань — и вспять понесёт.
И — взахлест вокруг горла шлея.
Шаг назад —
Произвол.
А по курсу — за тучами тучи.
По зыбучей — по зыбкой
По оползи стежка моя.
Да и только ль моя?
Лишь холопов на той карусели
Не кружит:
Смолкли казни,
Пой, храмная медь.
Скоморошки-стишки,
Чуть от титьки отпав, облысили.

Певунцы-горюнцы,
Без подачки — ни взвыть, ни запеть.
Без команд — ни гу-гу.
Благодать! Похвальба гробовая.
Ну да Бог вам судья,
Уж чего уж там, пой — кто о чём.
Нет без волюшки вольной,
Нет песни. Рабыня — бывает.
Вот тогда из удушья
Придёт Емельян Пугачев.
Связь времён — пыль времён.
Кроны жрут свои древние корни
И, безумьем созрев,
Ядовитые мечут плоды.
И цепами, цепами бьют нежных
Стада непокорных —
Перекатное поле
Дубасит оседлых под дых.

5.

За недолю и волю,
За бред многовечных туманов
Перепуталось всё:
Москали. Голодрань. Казаки.
Каждый в землю ложился —
За землю,
За жизнь — без обмана,
За единственную — до захлеба —
Штыками в штыки.
Где истоки мои?
Частью вытравлены, частью помню:
Мои предки — оттуда,
Где пелось и плакалось всласть.
Разливался «максим»,
Гоготали махновцы как кони,
Башлыки с головами
Разбив о советскую власть.
Ради вдовьих платков?
Я по траурным по полушилкам —
Семь дедов, подсчитал,
Семь дедов моих в землю легло.
Я же плоть их и кровь,
Безысходно и тяжко, и жалко.
Отпалили друг в друга.
Отпластались — клинки наголо.
Что осталось от вас?
Тёмный парус над общей недолей.
И сидит здесь душа моей памяти —
Псом, на цепи.

Отгуляло
Слепое
И
Дикое
Ты, Гуляй-Поле.
Сорок тысяч коней
Разметали свой прах по степи.
Всех разгваздала сила,
Что в гетры и липы обута.
За моря укатили помешники, баре, князья.
Угнетенье, оно ведь всегда
Разрешается бунтом.
Без свободы, без правды горючей
Народу нельзя.
Озвеет душа.
Истребляется в ней всё, что чутко.
Знаю сам по себе:
От высокопоставленной лжи
Меж запоев — как в бездну —
В мир глядел отрешённо и жутко.
Смерть от скверны бежала,
Отчаясь прервать кутежи.
Был бездомным. Гонимым.
Не зря в этой жизни люблю я
Вас, предтечи мои,
Гнусью загнанные на веку,
Гусляры дерзновенной России,
Есенин и Клюев!
В огневой нас купели
Дерзновенный крестил Аввакум
Для барханов и тундры,
Для песен по гослесосекам.
Эти райские кущи
Певцов покупных не манят.
Каруселька страны,
Каруселька судьбы,
Каруселька,
Смех и слёзы — лечу,
Закружила ты в доску меня.
Так увечно прожил.
Так калечно рассвет прозреваю.
Сам себя сотворял
И рассвет — в терпком поте лица.
Не к разгулу я, край мой,
Не к бунту тебя призываю,
К состраданью, к свободе,
На исповедь кличу сердца.
Нас разъяла двулиkenость.
Мы предали отчий обычай.
Жжём свои же дома
И с восторгом глядим на зарю!

До сегодняшних дней
Обезглашен и обезъязычен,
Скорбь земную несу,
В никуда, в белый свет говорю:
Как такое возможно —
Полвека бесправья, обмана?
Мял конвойер судейский:
Вне шеренги — подонок, бандит.
Деспотия плодит
Палачей, стукачей, атаманов,
Холуев-подпевал,
Людоедов идейных плодит.
День за днём,
Год за годом
Хлобыщут то страхом, то смутой.
Как без солнца цветы —
Слюденеют хрусталики глаз.
Величайший талант —
Беззаконье с законом не спутать,
Чтобы вера в Отчизну
Звериной тоской не сожглась.
О, прислужники дьявола,
Что вам до рая и ада?
Только шабаши править
На спинах поверженных ниц.
Вам — что бить, что любить...
Будет так, как верховному надо.
Для таких вот народ —
Подъяремная сволочь тупиц.
Всё на собственной шкуре:
Отстойники. Стройки. Забои.
Оплевали, растлили —
И скопом «воспитывать» нас.
Тело каменным стало,
Душа только помнит побои,
Отшагав со страною
Её исторический пласт.

6.

Сколько лет отшагал я вот так?
Тридцать пять или сорок?
Пролетело четыре десятка.
Годочки, года...
Гулеванила, властью пригретая,
Страшная свора,
А точней — самовластьем,
Цветущим так пышно тогда.
И не стёрли вас годы.
Я помню вальяжные лица.

На груди главаря
Полыхал разноцветный значок.
Отшибали воришке-мне рёбра,
Какмялкой костицы.
А с портрета Дзержинский
Глядел в мой кровавый зрачок.
И разбитые губы,
Распухшие чёрственные шкварки
Обращались к нему,
Но сгорала мольба:
«По-мо-ги...»
И смеялись в сознанье:
Душегубки... Эсэсовцы... Харьков...
«Бэ-удиши, сэ-волочь,
За-ста-вим чекистам лизать сапоги...»
Самосудами бит,
Геноцидчиками полосован.
Враг — захватчик. Он враг.
Но свои-то, свои — па-ла-чи!
Кто в ответе за всё?
Только хлопают крыльями совы.
Только траурный ворон
Над детством распятым кричит.
Над Россию ворон
Стал спутником русского поля.
Либо он ненасытен,
Либо мы заблудились в «добрे»:
То ль войны ураган
Панихида в стране колоколит,
То ли рельс перезвон⁶
Из бесчисленных даль лагерей.
Беспросветная летопись —
Трассы, спецлаги, спецстройки.
Память вечная мёртвым —
В виденьях меня не увесь.
Моралисты плетей,
Педсадисты, взгляните за строки:
Мятежи, спецсуды, побегушки, расстрелы, ЧВ⁷.
Смрад вензон и тубзон.
Кроты кочки тряпичных треухов —
Шапки эры рабов,
Форма серых идейных гримас.
Здесь рождалась агония
В теле больного триумфа
Произволом Закона,
«Во благо»,
«От имени» масс.
Маскарадчики, к вам

⁶ Удар по рельсу — сигнал для заключенных (побудка, выход на работу и т. д.).

⁷ Членовредительство.

Эти б маски-гримаски на танцы.
Скольких морок эпохи
Прокаженный ваш ветер промял:
Украинцев, болгар,
Белорусов, поляков, испанцев,
Русаков, азиатов, грузин,
Возвращенцев-армян.

7.

Нет названья тому,
Что годами мы всё созидали!
Всем гигантский бы крест
На гигантской воздвигнуть горе,
Всем, что смертно легли
В воркутинско-уральские дали,
Отломив «до звонка»
В джунглях тюрем и концлагерей.
За картошин пяток,
Перепрелой половы мешок,
Для опухших детей
Помело колосков из колхоза...
Где, когда, перед кем
За народную кровь и за слёзы
Не на Суд управитель,
А хотя бы с повинной пришёл?
Просто вышел бы к смертным
И крикнул:
«Простите мне, люди,
Прегрешенья мои,
Заблужденья мои,
Слепоту!
Нету добрых средь нас.
Было прежде, так есть и так будет —
К власти чистым не выйти.
Нет честной дорожки к посту».
Стало нормой — по избам
Шнырять, по сусекам мести.
Стал разбой героизмом.
Бесчестие стало в чести.
Массам — равенство в нищенстве.
Избранным масс — спецтайки.
Правдолюбец — в этап.
Бунтанил — на глаза пятаки.
Пустоглазая свищет косищей
По цвету пород.
Убивали убийцы народа
Бесправный народ.
И плодили ворьё-мелкоту.
И судили за мзду,

Чтоб ретивых страшился:
Чуть что — и накинут узду.
И накидывали:
За молчанье, за мысли, проступки.
Поощряя льстеца,
Возносился в зенит лиходей.
Наплодили путан
Политические проститутки,
Ради «светлого завтра»
Туманя сегодня людей,
Чтобы выскоблить память...
Отречься от пашен и вод.
Если взять каждый год,
Сколько кровушкой уж окликало!
И опять призывают:
Дать отпор крикунам-радикалам.
А сейчас радикал —
Каждый, кто «по талонам» живёт⁸.
Слюдяные глаза.
Перекошены злобою лица.
Струпья с сердца не слезли,
И снова туда же — к кнуту!
Хочет есть радикал,
И по сходной цене лохмотину —
Прикрыть наготу.
Отыграв-отболванив
Обострённою схваткою классов —
В социальном удушье
Найдётся для смердов вина!
Боже мой, сколько раз
Молодым человеческим мясом,
Наспех сляпав Указ,
Затыкала ты прорву,
Страна...

8.

«Двадцать пять, пять и десять» —
Ваш почерк,
Лже-юре, лже-факто,
Самосудчики века,
Жестокость вождей, ваш прогресс.
Опочил Сатана⁹.
Вы остались с железною хваткой.
Демократией-эхом
Двадцатый аукнул партсъезд.
И по ростепели

⁸ Талонная система обеспечения, введенная в СССР в конце 80-х годов XX века.

⁹ И. В. Сталин.

Беговые снега захрипели.
О солдатских этапах
Не успели пропеть «соловые»,
Об ушедших «во льды»¹⁰,
Захлебнувшихся в белой купели...
И о нас у болот
Кулики не пропели свои.
Спой хоть ты, моя память!
А может быть, боль устарела?
Или ты, моя совесть,
Отреклась от помойных тех ям?
Мысль, как узник,
В былое глядит, ожидая расстрела,
До жестокой тоски
Ощущив пустовой бытия.
По апрелю снежит.
На ветле, за окошком, сорока.
И такая вокруг —
Всех ко всем
Безучастная тиши.
Неужель ты вот так, умираешь душа,
Раньше срока,
И не помнишь, что помнишь,
И не видишь — куда ты глядишь.
Значит, зря мы прошли
По окопно-этапной трясине.
Значит, общество наше
Годами не грея, дымит.
Значит, нет больше совести,
Чуткости к звуку:
Россия!.. —
Когда сердце от боли
Сдетонирует как динамит.
Что, земля моя, с нами?
Неужели мы неизлечимы?
Вжатый, втоптанный, вмятый,
Я слышал твоё:
«Поднимись!»
И старался не плакать
Тогда, когда были причины,
Но дышать не могу —
Прёт опять ломовой оптимизм.
Вновь плодят слепоту.
Лишь глаза на мгновенье закрою —
Образ нынешних действий
Всё тот же: он бьёт, я служу.
Беззащитно. Пустотно. Беспомощно.
Мнится порою,
Будто мы

¹⁰ Побег.

Пласт к пласту
Отвалились за жизни межу.
Мало, что ли, вскормили
Судейской похлёбкой из стали?
До кровавой отрыжки —
Мильоны!
Под самый кадык.
Но не слышно:
«Шабаш...
На столетье вперёд мы устали...
Распиная себя
Под речуги идейных владык».
Краснопенная, бешеная
Тройка-птица, опомнись, куда ты?!
Героичен твой путь и трагичен,
И свят, и свинцов.
Без помех, сам на сам,
Демагоги прошли в депутаты.
На литфонте бои —
Импотенты дубасят скопцов.
Племя соцреализма.
Отцы. Просветители черни.
Мысль и честь в портмоне.
Содержимое яд —
Мёд уста.
Да. У каждого века
Свой символ для Тайной Вечери:
Свой Пилат, свой Иуда.
Роди только, время, Христа!
Лобызать, распинать —
Прикажи лишь! —
Не всё ли равно?
Здесь отдельной душе —
Как под сетью гигантскою птице.
Всё до капли положено
В рамках того, что дано:
Можешь петь, подпевать,
Продвигаться по должностям, спиться.
В этом темпе. И только.
Так будет ещё после нас:
Поживут-пожуют
И исчезнут. Что было, то сплыло.
Человеку — трагично.
Массе — может быть голодно, стыло.
Срам и скорбь за былое,
Такое, увы, не для масс!
Нет такого в истории,
Время моё, не листай.
Не буди неприязнь
У всевластной урядницкой клики.
Мы уходим,

Последние певчие северных стай,
Гениальные в серость
Роняя предсмертные крики.

9.

Волны дум. Вихри дум.
Отдели вопль восторга от воя —
Благородные чувства
От визга подкупленных клак.
Тает льдинкою век.
Отторгается всё, что живое.
Веру в светлое завтра
Железный втирает кулак.
Значит, нет на земле
И не будет другого расклада:
Тем — горбатить без роздыха,
Этим — стославить тот труд.
Притерпеться к ярму.
Придышатся к тюрьме и распаду.
Те — с престижем рождаются.
Эти — в забвенье умрут.
Всем, в ком совесть жива,
Нам земля — не плацдарм для наживы.
Я не с вами, кто сжёг
Наших белых надежд корабли.
Ваши праздники — бред.
Вы больны.
Ваши лозунги — лживы,
По которым народ
Вы к блаженству под страхом вели.
Я из дебрей эпохи,
Из джунглей двадцатого века
По окопам и лагам
Горемычную правду свою
Приволок к тебе, молодость,
Веря в честь человека,
Отдающего жизнь
Для других — в доброте и в бою.
Сам её отдавал.
Был за то, что на серость плевал я.
Говорю вам:
Подачек не ждите. Страшитесь тенёт.
До остудной могилы
Обрызда игра нулевая.
Нет ничейного счёта
У жизни стремительной.
Нет.
Не добит, не дострелян,
Железом калёным не выжжен,

И на серость плюю — как плевал,
Но бескровно, смеясь.
И той частью, где сердце,
К Отчизне — уж некуда ближе.
Жизнью битые, гнутые —
Все мы страны сыновья.
Нам шаманили в двадцать
И в сорок:
«Надейтесь. Однажды...»
Никакого «однажды».
Мы мчимся, подобно лучу!
Поддержи меня, Родина,
Не лишай меня мужества жажды:
Дострадать, досказать,
Догореть без остатка хочу.
И другим я не стану.
Не желаю средь гнуси и лени
Бить локтями в лицо
И в восторге вопить:
«Все равны!»
Вон они рвутся в зал
Для духовного всеоскопленья.
Раздувается зал,
Достигая масштабов страны.
Мне б себя отыскать.
Отыскать бы себя мне... Поверьте!
От глупцов-погонял
Я, как рикша, под мыслью влачусь:
Не в чужой похвале
Наша сущность и наше бессмертье —
В нас, в живых,
В нас самих,
В естестве наших мыслей и чувств.
Я кричу в летаргию эпохи
И в оцепенелость округи:
Мы — родня на Земле.
И Земля нам на время дана.
На Голгофу идущих
Беру я душой на поруки.
Жизнь — одна.
И Любовь.
Кровь — одна.
И Свобода — одна.
В этом трепетном мире,
По сути своей не жестоком,
Осеняю признаньем
Травинки, пичужек, зверьё.
Всех живущих прошу,
На все три стороны от востока:
Заштите Любовь!
Иль распните меня за неё.

Океаны молчанья
Мчат безмолвия долгого волны.
Для того и живу,
Сквозь глумления чащу дерусь,
Что без этих вот строчек
История будет неполной —
Как без «Мёртвого дома»,
Как без Гоголя странного Русь...
Пятилеток снега,
Как странички тетрадей в косую,
Мрак листает над тундрой,
Вглядитесь, взглядитесь вокруг —
Там вон, дети войны,
Сиротище страны голосует
За «счастливое детство»
Культиами обрубленных рук.

Конец 80-х — начало 90-х

Содержание

«Живущим руку протяну» (А. А. Романов-мл.) 3

ВЫЗОВ СУДЬБЕ

Вступление.....	11
Желтые тетради.....	12
Журавушка.....	19
К ликам храмов бревенчатых.....	26
Предвестный свет	34
Тёмным бродом	43
Я рождаюсь вот здесь.....	46
По разломам военной земли.....	54
Памяти моей лицо бескровное.....	61
Судьбы моей поле	83
В семье единой	89
Без конвоя летят журавли.....	92
Грядущее — клином	95
Иллюзия разума	103
Приспело время мародёру.....	109
Суждено ли нам выйти из круга?.....	115
Чем глупше музыка любви... (девяносто третий год)	122
Обугленные веком	130
Не сожжена свеча.....	138
Мельница на костылях.....	145
Молитвы времени разлома	150
На рубеже моём последнем	157
Четверостишия	161
На дальний свет, сквозь наледь окон.....	165
Счастье и смерть.....	171
Заключение.....	179

ИЗ СБОРНИКОВ РАЗНЫХ ЛЕТ

Мальчишка-воин	183
Я тебе не писал.....	198
Лицо святое, светлое твоё	217
Радуйся, человек	245
Детский альбом	266
Перед снегом, ещё не упавшим	267
Агония триумфа (поэма).....	285

Литературно-художественное издание

Татьяна Петровна Сопина
Михаил Николаевич Сопин

ЖИВУЩИМ РУКУ ПРОТЯНУ

*Поэтическая биография
Михаила Сопина*

Редактор
А. А. Романов-мл.

16+

ISBN 978-5-9729-5125-3



9 785972 951253

Подписано в печать 30.05.2024
Формат 60×84/16. Бумага офсетная.
Гарнитура «Geologica».

Издательство «Родники»
160011, г. Вологда, ул. Козленская, д. 63
Тел.: 8 (800) 250-66-01
E-mail: irodniki@yandex.ru
<https://irodniki.ru>

Издательство приглашает
к сотрудничеству авторов



Михаил Сопин — поэт очень сложной судьбы. Дважды рождённый (фактически — в 1931-м, духовно — в 1941-м), прошедший «ад лагерей», спасённый любимой женщиной-«весной» и спасшийся сам своими искренними «стихами-молитвами». «Я камень сдвинул, а под ним — душа...». Поэт выстоял, не сломался, смог «сдвинуть камень» и откровенно-художественно рассказать от имени ушедших, казалось бы, навсегда «теней из прошлого»...

ISBN 978-5-9729-5125-3

9 785972 951253